

The background of the cover is a detailed illustration. A woman with long, dark, flowing hair is the central figure. She is wearing a white, floor-length gown with a deep V-neckline and a fitted bodice featuring a colorful, possibly floral or paisley, pattern. Her arms are outstretched, and her hair is blowing in the wind. She appears to be standing on a stone path or ledge. To her left is a large, gnarled tree trunk with some yellow autumn leaves. To her right, there are stone balustrades and a large, translucent, purple-tinged curtain or veil that hangs from above. The sky is a mix of purple and pink hues, suggesting a sunset or sunrise. Several lit candles in ornate holders are visible, casting a warm glow. Some leaves are falling through the air. The overall mood is ethereal and romantic.

КАТЕРИНА МУРАШОВА
НАТАЛЬЯ МАЙОРОВА

Синие Ключи
Манец с огнём
КНИГА ВТОРАЯ

Синие Ключи

Екатерина Мурашова

Танец с огнем

«Автор»

2015

Мурашова Е. В.

Танец с огнем / Е. В. Мурашова — «Автор», 2015 — (Синие Ключи)

Преображения продолжаются. Любовь Николаевна Осоргина-Кантакузина изо всех своих сил пытается играть роль помещицы, замужней женщины, матери и хозяйки усадьбы. Но прошлое, зов крови и, может быть, психическая болезнь снова заявляют свои права – мирный усадебный быт вокруг нее сменяется цыганским табором, карьерой танцовщицы, богемными скитаниями по предвоенной Европе. Любовь Николаевна становится Люшей Розановой, но это новое преобразование не приносит счастья ни ей самой, ни тем, кто оказывается с ней рядом. Однажды обстоятельства складываются так, что у молодой женщины все-таки возникает надежда разорвать этот порочный круг, вернуться в Синие Ключи и построить там новую жизнь. Однако грозные события Первой Мировой войны обращают в прах обретенную ею любовь...

© Мурашова Е. В., 2015

© Автор, 2015

Содержание

Пролог,	7
Глава 1,	12
Глава 2,	17
Глава 3,	27
Глава 4,	36
Глава 5,	44
Глава 6,	54
Глава 7,	63
Конец ознакомительного фрагмента.	71

Екатерина Мурашова, Наталья Майорова

Танец с огнем

«О десятих годах»

И никакого розового детства...
Веснушечек, и мишек, и игрушек,
И добрых тетя, и страшных дядя, и даже
Приятелих средь камешков речных.
Себе самой я с самого начала
То чьим-то сном казалась или бредом,
Иль отраженьем в зеркале чужом,
Без имени, без плоти, без причины.
Уже я знала список преступлений.
Которые должна я совершить.
И вот я, лунатически ступая,
Вступила в жизнь и испугала жизнь:
Она передо мною стлалась лугом,
Где некогда гуляла Прозерпина...
... Чем мной сильнее люди восхищались,
Тем мне страшнее было в мире жить,
И тем сильнее хотелось пробудиться,
И знала я, что заплачу сторицей
В тюрьме, в могиле, в сумасшедшем доме,
Везде, где просыпаться надлежит
Таким, как я, – но длилась пытка счастьем.

А. Ахматова

**Пролог,
в котором летает майский жук, а живой
человек и серебряный кофейник равным
образом предназначаются в приданое
семилетней девочке Наташеньке.**

Калужская губерния, имение Торбеево, 1858 год

Веселая речка Сазанка залила луга. К июлю она почти полностью пересыхала, а нынче, в апреле, над ее еще дышащими холодом просторами с ошалелым кряканьем носились вернувшиеся с юга утки и выбирали места для гнезд.

День стоял тихий и теплый. Кусты ивняка, по пояс в воде, покрылись желтыми пушистыми «барашками» и сыпали пыльцу в зеркальные заводи. Пыльца собиралась на поверхности воды в слоистые островки, по которым шустро бегали недавно очнувшиеся после зимы водомерки. Впрочем, долго вглядываться в кишашую жизнью суету разливов не удавалось, так как высоко стоящий солнечный диск многократно отражался в водах и разбивался на острые сверкающие осколки, режущие глаза.

Имение Торбеево находилось на небольшом взгорке. С двух из четырех сторон к нему подступала вода. Дом, большой и старый, с деревянными, выкрашенными охристой краской колоннами, как будто удивленно оглядывался, с трудом узнавая преобразившиеся после разлива Сазанки окрестности. Древняя толстенная ива с изрезанной корой склонялась над ним и успокаивающе гладила ветвями крышу, крытую красной черепицей.

На полянке, окаймленной плодовыми деревьями с едва распустившимися почками и полого спускающейся к залитому водой лугу, расположился молодой художник со своим мольбертом. Яркие краски на палитре казались продолжением усыпавших полянку первоцветов. Не слишком красивое, но юношески свежее лицо художника дышало вдохновением. Внешнее солнце ласково играло в его темно-рыжих, длинных, подвязанных тесьмой волосах. Когда юноша встряхивал головой, в густой глубине волос, как рыбки в ручье взблескивали золотые искры.

Звучащий всеми весенними красками пейзаж был лишь частью задуманной художником картины. Имелась и модель. Весьма, впрочем, неудобная, ибо не могла не только усидеть неподвижно на венском гнущем стуле, но и вообще находиться в указанном художником месте.

Миловидная большеглазая девочка лет семи-восьми, с пушистыми как ивовые «барашки» волосами то бросалась за пролетающей через полянку бабочкой-капустницей, то присаживалась, чтобы рассмотреть ползущего по лепесткам пролески жучка, то подбегала к мольберту, чтобы взглянуть «как оно там получается».

– Наталия Александровна, сядьте, прошу вас! Наташа! Да Наташенька же! Ну сколько можно! Я же еще и трех мазков не успел положить, как вы смотрели! – безуспешно зывал молодой человек. На девочку он явно не сердился, с удовольствием наблюдал за ее резвыми играми, иногда попутно делал наброски углем на листах картона. Строжил ее лишь для порядка, что и она понимала великолепно, заглядывая юноше в глаза и улыбаясь ласково, с инстинктивным кокетством:

– Илья, миленький, ну рассуди сам: как же я могу удержаться? Вот этот жучок – ну разве он не прелесть? Взгляни только, как у него крылышки переливаются – все-все цвета видны! А вот бабочки – сразу три штуки вместе собрались. О чем они разговаривают, как ты думаешь? Может быть, они готовятся к бабочковому весеннему балу, и обсуждают, у кого какой наряд?

Илья улыбался ей вслед, послушно разглядывал жучков и цветы, потом шутливо-умоляюще приближал к груди испачканные краской пальцы:

– Наташенька, душенька, ну посидите вы смирно хоть минуточку! Дайте хоть свет схватить!

– Буду целых три минутки сидеть! – торжественно пообещала девочка, уселась на стул возле цветущего ивового куста и начала считать, постепенно ускоряясь. – Один, два, три...

Художник взялся за кисть, лицо его мгновенно сделалось острым и сосредоточенным. Но тут на поляну с низким гудением влетел огромный майский жук. Наташа сначала изумленно-испуганно вытаращила глаза, а потом с криком: «Все! Двести!» – сорвалась со стула и бросилась в погоню.

Илья проводил ее ласковым взглядом, и также не без интереса наблюдал за парадоксальным, почти стоймя, полетом насекомого.

– И как это эдакая штука – и летает?! – пробормотал он. – Предивно устроено все в Божьем мире...

– Воистину так! – усмешливо подтвердила подошедшая со стороны сада румяная девка в красном сарафане, туго подвязанном под налитой грудью.

Сняла с округлого локтя плетеную корзину, укрытую льняной салфеткой, картинно подбоченившись, расстелила скатерку прямо на пригорке с первоцветами, поставила серебряный кофейник, бутыл с молоком, чашки, разложила масляно блестящие пирожки.

– Барыня приказала Наташеньку покормить, – объяснила она наблюдающему за ее действиями Илье. – Не дело – с самого утра дите не покушавши, а нынче уж часы два раза пополудни били. Вскорости и сами придут твою мазню смотреть...

– Ладно, Марьяна.

– И ты бы передохнул, пирожок вон скушай, Наталья Александровна много ли съедят? Дай-ко глянуть, чего у тебя на холстинке-то... Ох ты, батюшки, как деревце-то похоже вышло! Прямо как живое! И барашки на ём видны! Не зря, сразу видать, тебя богомаз-то малевать учил... А это вот, размазанное все, чего такое?

– Наташенька это, егоза. Три раза уже перемалевывал, все никак свет не могу ухватить... – доверчиво и растерянно улыбнулся Илья, явно купившийся на Марьянин интерес к его творчеству.

– Дак нашел, чего малевать, – полуотвернувшись, Марьяна бросила на художника лукавый взгляд. – Дите несмысленное и по годам резвости полно. Чего она понять может?

– Марьяна, крестьянские дети в ее года в огороде и в доме работают всю. Ни о какой несмысленности и речи нет, – возразил Илья.

– Сказал! – всплеснула руками Марьяна. – То деревенские, а то барское дите, балованное, разве можно сравнить... Да ты в усадьбе недавно, нагладишься еще. Илюшка, а вот скажи мне, – Марьяна понизила голос и опасливо взглянула на Наташу, которая, как привязанная на веревочке, бегала по поляне за майским жуком. – Правду ли болтают, что когда в городе на художников учат, велят им баб нагишом рисовать?

– Это называется обнаженная натура, – улыбаясь, объяснил Илья. – Но там не только женщин, там и мужчин рисовать надо. Чтобы почувствовать, как устроено тело человеческое.

– А ты, коли барин тебя в город учиться пошлют, тоже будешь баб голяком рисовать? – спросила Марьяна.

Илья засмеялся и кивнул. Глаза у Марьяны стали как голубые тряпочные пуговицы. Она о чем-то задумалась, а потом подмигнула юноше.

– Так касательно же мазни твоей... Ты учти: иные могли бы в охотку и посидеть смирно, когда работы в дому немного и барыня к себе не требует. Понабивал бы покудова руку... Что тебе девчонка-то? Где у нее, как ты говоришь, тело?

Илья покраснел мгновенной волной, сплошь, как обычно краснеют рыжие люди. А Марьяна продолжала:

– А коли уверен в себе, что не промахнешься, делал бы уж барынин портрет в кружевном платье, с левреткой ейной. Подлизаться-то к хозяевам никогда не грех... Ох, легка на помине!

На поляну меж тем вышли женщина с еще красивым, но брезгливо увядающим лицом и высокий мальчик в новой гимназической шинели, с изящной тростью в руках.

– Мама, мама! Вы поглядите только, какой огромный жук! – бросилась к женщине Наташа. – Я таких никогда еще не видала! Вон, вон он летит! Видите?

– Где? Где, Наташа? – послушно заозиралась женщина.

Мальчик-гимназист споро шагнул вперед и ловко рассек тростью воздух. Важное гудение прервалось.

– Вот, Елизавета Маврикиевна, пожалуйста, – он указал тростью. – Вот этот жук!

– Николенька, зачем?! – рассерженно крикнула присевшая над поверженным жуком Наташа. – Вы ему крыло помяли, он теперь не сможет лететь!

– Наташенька, бог с тобой, детка, – рассеянно проговорила Елизавета Маврикиевна, мельком взглянула на беспомощно копошащегося жука и брезгливо поморщилась. – Николай! Оставьте эту гадость! Давайте лучше взглянем на плоды искусств... И вот покушать Наташеньке непременно надо...

Илья и Марьяна молча поклонились Елизавете Маврикиевне.

Девочка послушно отвлеклась, тут же заметила разложенные на скатерке яства, схватила румяный пирожок, откусила, пригласила радушно:

– Да вы тоже берите, маменька, тут много. И вы, Николенька. Очень вкусно! Илюша, ты же с утра голодный, иди сюда!

Гимназист Николай взглянул надменно. Рыжий художник отрицательно помотал головой.

– У тебя руки в краске? Так я тебя сейчас покормлю! Хочешь? Вот, кусай!.. Мама, Николенька, взгляните, как у Ильи на картине замечательно получается! Все-все как по-настоящему! Только меня ему никак не нарисовать, потому что я бегаю все время... Да кусай же ты, Илюша!

Елизавета Маврикиевна наблюдала за разворачивающейся сценой с добродушной иронией. Наташа, сама с младенчества малоежка, очень любила всех кормить – и лошадей в конюшне, и лебедей в прудах Синих Ключей, и собак. Причем кормила настолько истово и упорно, что левретка Елизаветы Маврикиевны, обладавшая независимым и сварливым характером, просто рычала при приближении старшей хозяйкиной дочери с очередным куском в руках.

Илья снова покраснел, не зная, как себя вести. В конце концов, он отобрал у Наташи пирожок испачканной рукой и буквально затолкал его себе в рот. Аккуратный гимназист Николай смотрел на обоих с брезгливым неодобрением.

Закончив кормление Ильи, Наташа огляделась. Взгляд ее упал на серебряный кофейник, победно и ослепительно сверкнувший на весеннем солнце. Девочка подпрыгнула на месте от восторга, дернула художника за рукав блузы и воскликнула:

– Илюша, ты гляди, гляди, как блестит красиво! В комнатах он ни разу, ни разу так не блестел! А вот нынче, когда его погулять вынесли... Ты это нарисовать можешь? Солнышко в кофейнике, а? А, Илюша?

– Солнечное сверкание очень трудно передать на холсте, – солидно ответил Илья. – Нету такой краски. Но опосредованно попробовать можно, а поскольку кофейник не станет от меня бегать и за жуками гоняться...

Наташа весело рассмеялась шутке Ильи.

– Но все равно мне так нравится, как он блесит! Правда красиво, мама?! Даже кофе с еще пирожком захотелось!

– Марьяна, налей Наташе кофию, да сливок побольше! – немедленно распорядилась Елизавета Маврикиевна и добавила, улыбнувшись дочери. – А раз этот кофейник тебе так нравится, так мы его тебе в приданое дадим. Непременно. Взглянешь на него после и сразу вспомнишь теперешнюю весну... солнце... детство свое...

Женщина лирически и слегка печально вздохнула.

– Рано еще Наталье о приданом думать! – энергично сказал вышедший на полянку мужчина.

Илья и Марьяна снова поклонились, тупя взгляды. Наташа же не бросилась к отцу, как недавно к матери, но присела в вежливом реверансе.

– Здравствуйте, Александр Георгиевич! – щелкнул каблуками Николай.

– Здравствуйте, здравствуйте всей честной компании! – тоном человека с неизменно хорошим аппетитом поздоровался Александр Георгиевич, приобнял жену, потрепал по щечке Наташу, подмигнул Николаю. Потом с заинтересованным лицом прошагал к расставленному мольберту. – Нуте-с, нуте-с, что у нас тут?.. Воды и природы получились, надо признать, изрядно... На мой взгляд, куда лучше, чем на иконках твоего учителя-богомаза... Видел я в доме и рисунки твои. Особенно мне глянулось там, где жеребец на дыбы встает и где девка воду на коромысле несет. Верная рука. Полтора, если не ошибусь, года, как ты из деревни пришел, но дьяку нашему тебя явно учить больше нечему... Что ж, Илья, выходит, и вправду тебе от Бога дарование отпущено? И нам, стало быть, надо действовать соответственно... А как ты скажешь, Николай?

Гимназист, повинувшись просьбе Александра Георгиевича, впервые прямо взглянул на рисунок Ильи. Хмыкнул, поджал тонкие губы.

– У нас в гимназии половина пятого класса поизрядней рисует. А сестра моего лучшего друга так и вовсе пишет с натуры такие акварели, что хоть сейчас на выставку...

– Неправда! Неправда это! – крикнула Наташа. – Папа, не верьте ему! Не могут школьники лучше Илюши рисовать! Николенька это нарочно сказал!

Глаза девочки засверкали нешуточным гневом.

– Ладно, ладно, – успокаивающе сказал ее отец. – Я сам вижу, что у нашего Ильи природные способности. И вопрос об его обучении в Москве стоит в полный рост.

– Благодарствую, барин, – пробормотал, еще раз поклонившись, Илья.

– А на Николеньку ты, Наташенька, не ругайся! – усмехнулся Александр Георгиевич и лукаво погрозил дочери пальцем. – Имения наши рядом, возраст у вас подходящий. Кто знает, как оно обернется. Вот подрастешь ты, выйдешь за него замуж, а он тебе и припомнит...

– А я не хочу за Николеньку выходить! – надулась Наташа. – Он недобрый, он моего жука палкой покалечил... Мама, скажи! – девочка отвернулась от отца и его добродушно-игривой улыбки. – А если уж так надо всем замуж идти, так я бы лучше за Илюшу пошла. Он добрый и ласковый, видит красиво и всегда со мной разговоры разговаривает. Мама, можно мне?..

Елизавета Маврикиевна обескуражено молчала. Она никогда не ограничивала особо фантазий своей хрупкой и болезненной старшей дочери, но это, пожалуй, было уже слишком...

Николай презрительно фыркнул и сделал вид, что все эти глупости его совершенно не касаются.

– Нет, Наталья, за Илюшку замуж – это у тебя никак не выйдет! Не положено! – наставительно сказал Александр Георгиевич. – Но раз он тебе так мил, то мы вот что сделаем: выучим его на художника и дадим тебе в приданое. Вместе с кофейником. Будет он тебе пейзажики для гостиной малевать и твои портреты писать – чем плохо? – и владелец усадьбы, деревни Торбеевки и населяющих ее крестьян вкусно захохотал.

Елизавета Маврикиевна морщилась от неловкости. Марьяна, глядя в землю, крутила концы платка. Наташа хмурила светлые бровки, пытаясь понять.

Илья побледнел в просинь и стоял, выпрямившись, глядя прямо перед собой застывшими глазами.

Глава 1, в которой рассуждают об эротическом колдовстве, эстетическом чувстве и смене ведущих социальных классов. А также готовятся к летнему балу.

– Дядя, вы верите в колдовство?

– В общем-то да, – профессор Муранов пожал плечами. – Если изучаешь историю, и знаешь, что миллионы очень неглупых людей на протяжении тысячелетий в него верили, как-то неловко считать их всех дураками... А в чем, собственно, дело?

– Дело в том, что она, кажется, меня заколдовала. И это очень странно сознавать цивилизованному, образованному человеку в начале двадцатого века...

– Она – это кто?

– Моя жена, Любовь Николаевна или уж Люша-цыганка, я не знаю, как будет правильнее...

– В чем же эта твоя заколдованность выражается?

– В том самом, в чем вы меня нынче обвиняете. Я до сих пор не закончил кандидатского сочинения, всем объясняя, что хозяйство в имении требует много сил. Я не занимаюсь хозяйством, неизвестно перед кем делая вид, что изучаю в библиотеке исторические труды и пишу сочинение...

– А на самом деле?

– А на самом деле она все время стоит у меня перед глазами, я думаю о ней, навязчиво, неостановимо... Это мучительно в конце концов...

– Но ведь ты молодожен, – усмехнулся наивности племянника Муранов. – Что может быть естественнее...

– В том-то и дело, дядя! – воскликнул Александр. – Ведь я даже никогда не любил Любу! И не люблю ее теперь. Это был чистый брак по расчету... К тому же со дня нашей свадьбы прошло уже почти полтора года. И за это время я не узнал о ней, как о человеке, ничего нового и привлекательного. Что ж это такое? Я не могу не думать о ней, как о женщине, едва ли не каждую минуту... Что мне предпринять?

– Но что же она... Люба... Любовь Николаевна? – заинтересованно уточнил Михаил Александрович.

– Ничего. Ничего совершенно, в том-то и дело! Целыми днями, неделями она меня практически игнорирует. Занимается, ни о чем не предупреждая и ни в чем не давая отчета, чем угодно: гуляет где-то с крестьянскими друзьями своего детства, по памяти восстанавливает дом, руководит обустройством парка, расчисткой прудов, возится со своими хитровскими двойняшками и больной чахоткой родственницей Камиллой Гвиечелли... Она моя жена перед Богом и людьми, но кажется, что я ей скорее противен, чем мил, и совершенно непонятно, зачем ей...

– Да-а, я и не подозревал, что у вас все так... странно... – протянул Муранов.

– Теперь, когда родилась наша дочь, Люба, конечно, уделяет время ей, – продолжал Александр. Он говорил быстро, мерно, с полужакрытыми глазами, так долго таил все в себе, что теперь, когда решился начать, ему просто не терпелось выговориться. Реакция собеседника, казалось, не слишком его интересовала. – Отказалась от кормилицы, сама кормит ее грудью. Там, где застанет время или желание, как простая крестьянка. Например, сидит вместе с дочкой в саду, в гамаке... Я... представьте только эту картину, дядюшка... я подглядывал за ними из дома, из-за занавески... Смотрел на грудь своей жены... А в это время ее крестьянский

дружок Степан Егоров, стоя тут же, докладывал ей что-то о проблемах с мельничной плотиной. Любовь Николаевну это, по-видимому, ничуть не смущало, а мне хотелось немедленно и своими руками задушить этого молодого наглого мужика, с которым она, кстати, вместе выросла... Любкой кочующий цыганский табор непременно останавливается на наших землях, и она так же непременно ходит к ним петь и танцевать. Со всей своей сомнительной свитой: чахоточная художница Камилла, Степан, глухонемая Агриппина, усыновленные ею хитровские побродяжки (они до сих пор с наслаждением переодеваются в лохмотья, ходят босиком, подворовывают и, кажется, уловив момент, даже собирали милостыню на последней ярмарке, на которую Люба взяла их погулять), часто – Максимилиан Лиховцев, полдюжины разномастных собак, старая и злобная белая лошадь, которая тоже ходит за ней как собака, без всякого повода и упряжи... Меня никто не зовет, но я тащусь следом за ними и смотрю из темноты, как моя жена Любовь Николаевна Кантакузина... нет, тут уж, конечно, цыганка Люша Розанова танцует возле цыганского костра... Все это изматывает меня до последнего предела...

– Что ж... Эротическое колдовство – одно из самых древних и могучих... – Муранов серьезно взглянул на племянника, но в углах его сухих губ пряталась усмешка. – Чем же тебе помочь... Путешествие, быть может? Уехать в Европу? Рим? Ты можешь себе это позволить?

– В общем-то да... Оставить ее здесь?

– Конечно. Объясни всем, что экспедиция нужна тебе для завершения кандидатской работы.

– Да, вы правы, дядя, пожалуй, я так и сделаю...

* * *

В Синих Ключах, как и в прежние времена, давали четыре бала за год: белый, он же серебряный – зимой, розовый – весенний, во время цветения садов, зеленый – летом, и желтый или золотой – осенью, после уборки урожая. К балам вся дворянская и разночинская округа готовилась заблаговременно, насчет приглашений ловчили и интриговали, ибо праздники получались великолепными, а прихотливый нрав молодой хозяйки Синих Ключей, странной и загадочной Любовь Николаевны Осоргиной-Кантакузиной был всем известен еще с давних пор, когда ее покойный отец, Николай Павлович Осоргин жил наособицу и прятал свою безумную дочь от посторонних взглядов.

Нынче готовился зеленый, летний бал.

Столы планировалось расставить меж старых деревьев в излучине ручья, одного из притоков Сазанки, там, где стоял старый театр, построенный когда-то Николаем Павловичем для своей невенчанной жены-цыганки, и недавно отремонтированный их дочерью. На случай дождя имелись шатры, расписанные в виде беседок, увитых виноградом. На конюшне изготавливали связки факелов. Толстая огородница Акулина срочно выгоняла в оранжерею зелень и усиленно удобряла грядки с ранними овощами, ведя с ними по утрам преуморительные увещательные беседы, дескать, созревайте быстрее, а то как бы нам с вами перед всей округой не опозориться. Специально приглашенный из Москвы мастер, бывший житель Черемошни Иван Озеров день и ночь, не покладая рук, трудился в сарае над фейерверками. Любопытные мальчишки бегали кругами вокруг сарая и совали свои курносые носы в дверь и щели. Иван гонял их и грозил громко, но неубедительно. Несмотря на свои почти тридцать лет, характер самого Ивана во многом оставался мальчишеским, и в своей собственной семье он охотно подчинялся заправляющей всеми делами жене Светлане.

В доме горничные чистили серебро и хрусталь, в гладильне прачка крахмалила скатерти и салфетки с монограммой Осоргиных. Хотя до бала оставалась еще почти неделя, кухарка Лукерья неистовствовала в кухне и окрестностях – несмотря на явный избыток заказанных в Калуге и даже Москве припасов, ей всегда казалось, что чего-нибудь важного не хватит

в самый ответственный момент, и гости останутся голодными и недовольными. Имея четверть-вековой опыт в кухонных делах, Лукерья, на свою беду, оставалась неграмотной и не могла сверить имеющееся и задуманное по спискам или рецептам. Поэтому ей приходилось полагаться на свой опыт, отличную память и молоденькую помощницу, которая, несмотря на общую бестолковость, в детстве посещала церковно-приходскую школу, умела читать и даже писать. От кухаркиной беспомощности в этом важном вопросе и ее общего необузданного нрава доставалось всем без исключения.

Любовь Николаевна, пожалуй, даже нравилась царящая в усадьбе предбальная суматоха. Внутри ее она чувствовала себя живой и где-то даже полезной.

Притом все знали, что на самом празднике хозяйка усадьбы появится лишь в начале, а потом практически исчезнет. Заправлять же всем и царить непосредственно во время бала станет дальняя родственница Любовь Николаевна – Анна Львовна Таккер (для многочисленного клана родственников – Энни) – классически красивая молодая дама, которая специально для этого приезжала из Москвы в сопровождении английского мужа-фабриканта, детей, двух горничных, кормилицы, парикмахера и еще бог знает кого.

* * *

– Ну и когда твои итальяшки изволят прибыть? – Марыся Пшездецкая – броско, строго на женский лад красивая девушка, взглянула на Люшу. В ее больших глазах блестели зеленоватые искры.

Перламутровый свет дождливого дня наполнял комнату, мягко касался Марысиных щек, струился вдоль переброшенной на грудь тяжелой косы. Дождь, совсем недавно бывший ливнем, теперь шуршал тихо и деловито, от терпкой свежести, плывущей в распахнутое окно, перехватывало дыхание. Бабочка, прицепившись к раме, медленно взмахивала отсыревшими крылышками.

– Камиша приедет завтра. Прочие Гвиечелли – к концу недели, – вздохнув, ответила Люша.

Она привыкла к тому, что Марыся, держательница трактира и верная подружка нелегких хитровских времен Люшиной жизни, ревнует ее к аристократической Камилле и всему клану Осоргиных-Гвиечелли в целом. Но это ее по-прежнему огорчало. Тем более, что Камиша, давно (и безнадежно по общему мнению, которое она сама разделяла) страдающая туберкулезом, отзывалась о Марысе в самых превосходных тонах и даже однажды написала ее ростовой портрет в цветной шали, не пожалев ярких красок и ликующих тонов.

Марысе портрет ужасно понравился (хотя она и старалась это скрыть). Камиша с удовольствием подарила его трактирщице, и теперь он висел в ее небольшой гостиной, занимая самое почетное место.

– Не разумею я этого, – почти сварливо продолжила Марыся. – Вот хоть ты мне объясни – какой вообще прок в этих балах? Ну то есть, я понимаю, конечно: съедутся бездельники со всей округи – себя показать, людей посмотреть. Девушки женихов ловят, мамы сплетничают, все задарма пьют, пляшут и в карты играют. Но тебе-то зачем, Люшка, все это надо – вот чего я разобрать не могу! Замуж ты уже вышла, дите родила, вина ты не пьешь, в карты не играешь, разговаривать с ними со всеми тоже толком не разговариваешь. Заправляют здесь всем и нарядами-побрякушками чванятся твои итальяшки. Денег на каждый бал уходит целая прорва, если их же в какое дело вложить, так можно немалую прибыль получить, а так – все в небо уносится, вместе с фейерверком от Вани-простака и прочими пукалками. Какой твой профит? Неужели тебе среди них слава нужна?

– Не напрягайся, Марыська, тебе этого вовек не понять, – отмахнулась Люша. – Потому как у тебя ум иначе устроен. Давай лучше сходим посмотрим, как сцену и скамейки наново покрасили...

– Чего это мне не понять из того, что Камилла с этой вашей надутой Энни понимают?! – напоказ обиделась Марыся. – И ты-то, кстати, сама откуда вдруг все про балы разбираешь? На Хитровке, что ль, научилась? Или когда здесь, в Синих Ключах, белкой безмысленной по деревьям скакала, и отец тебя от людей прятал?

– Первый раз мне дядя Митя, который на Пресне на баррикадах погиб, объяснил, – сухо ответила Люша. – Потом – Арабажин, а потом я и сама в книжках читала. Энни с Камишей аристократы, это верно. Голубая, если хочешь, кровь. Энни главное – чтобы было красиво: все в нарядах, драгоценные камни блещут, она с голыми белыми плечами, музыка играет, лакеи с шампанским ходят, сад, фонтан... Для них красота, искусство, утонченное совершенство в любой области важны сами по себе, без всякой привязки к труду, капиталу и прочим производственным отношениям. Все это уже отжило свое, это не только у Маркса, но и у господина Чехова в «Вишневом саде» описано. Их время кончилось вместе с крепостным правом, когда человеческий труд ничего не стоил. Теперь вот твое время, Марыська: все должно приносить прибыль. А что прибыли не приносит – то побоку, как если бы оно и вовсе смысла не имело. Ты – типичный представитель буржуазии, вроде чеховского Лопухина. Но и это тоже пройдет...

– А кто же в конце концов победит? – как будто бы даже заинтересовалась Марыся.

– Революционный народ, должно быть, – Люша неуверенно улыбнулась.

– Как это – народ? А я, а мы с тобой – кто же такие? Да где ты этот революционный народ видала-то?! – снова озлела Марыся. – На Пресне своей, в 905 году? Так там все больше студенты были, лавочники да солдаты. Ну вот, победили одни других – и дальше что же?

– Увидим, – Люша пожала плечами. Она всегда была не слишком многословна и не любила пустых споров и рассуждений. – Хочешь заранее знать – читай книжки. Но вряд ли нас с тобой спросят, кому побеждать. Пойдем лучше на то поглядим, что от нас зависит.

* * *

– Энни, ты решительно неправа! У Любочки есть эстетическое чувство. И все здесь, в усадьбе – тому подтверждение! – почти с вызовом сказала Камилла Гвиечелли.

Девушка была бы как две капли воды похожа на средневековые итальянские портреты, если бы не крайняя степень ее худобы.

– Согласна, – качнула тщательно убранный головой Анна Львовна Таккер. – Есть. Но оно – чудовищно. Весь этот создаваемый ею колорит – он наличествует, и я не буду с этим спорить – ужасное дурновкусие! Я готова признать, что в дикости нерегулярного парка, заросших прудов эт цетера есть своя прелесть, но посмотри, во что она превратила чудесный, восстановленный стараниями Александра Васильевича дом! Эта странная раздвигающаяся башня с телескопом: что, здесь живут астрономы? Знаешь, что она мне сказала, когда я ее спросила о смысле этой архитектурной конструкции?

– Что это голова Синей Птицы, – тихо ответила Камилла.

– Именно! – воскликнула Анна Львовна. – Именно голова птицы! Ее дом – живое существо. Без головы-башни он не мог узнать в ней хозяйку усадьбы. Теперь все в порядке. А в зимнюю метельную ночь дом может взмахнуть крыльями и улететь. Куда? Вероятно, как говорят русские, к чертовой бабушке... Камиша, я давно хотела с тобой поговорить. Вы с Любочкой очень близки и ты, по всей видимости, поддерживаешь и даже культивируешь в ней все эти фантазии. Тебе это занято, я понимаю, но ведь не грех подумать и о самой Любе, о неустойчивости ее сознания... Ты же должна помнить, что говорил о психическом устройстве Любочки Юрий Данилович...

– Ты знаешь, Энни, что я люблю Любочку всей душой и никогда не пожелаю ей ничего дурного! – прижав руки к исхудавшей груди, горячо воскликнула Камиша.

– В твоей привязанности к Любочке никто не сомневается, – успокоила кузину Анна Львовна. – Я просто прошу тебя быть осторожней в потакании тому, что ты называешь ее оригинальностью. Ограничения цивилизации и скучные рамки общепринятого придуманы в том числе и в целях сохранения общественного рассудка. Взгляни вокруг непредвзятым взглядом – что ты увидишь? Дом потомственных русских аристократов, наполненный беспородными собаками самых разных цветов и размеров, на которых можно наткнуться где угодно – под столом, в спальне, даже за портьерой на подоконнике... Они лают, гоняются по всему дому за кошками, прячут кости под ковры, иногда даже гадят и спариваются в комнатах! А эти расставленные повсюду латунные тазы, в которых плавают кубышки и лилии из пруда? По Любиной просьбе служанка поставила один такой таз возле моей кровати. Что это означает? Что украшает или символизирует? К тому же я проснулась оттого, что из этого таза лакала лохматая собачонка, и в нем же с чириканьем купался какой-то красный воробей. Люба потом объяснила мне, что по-русски он называется зяблик. В усадьбе есть розарий, коллекция фарфоровых ваз, но к приезду гостей дом почему-то украшен беспорядочными охапками какой-то луговой травы, стоящими в склеенных кривобоких горшках.

– Это Иван-чай, колокольчики и кашка, – тихо уточнила Камилла. – Мне кажется, вполне красивое, смелое сочетание...

– Камиша, не смеши меня! В усадьбе имеется чудесная, вполне ухоженная оранжерея с оставшейся еще от Любиного отца коллекцией орхидей, хороший розарий... Пусть смело сочетает благородные цветы – кто ей помеха?

– А вазы – это ценные древние амфоры. Дядя Александра – Михаил Александрович Муранов подарил им на свадьбу свою коллекцию.

– Но уж наверное он сделал это не для того, чтобы Люба размещала в музейных экспонатах свои пучки сена!

– А птицы в доме – это Любочка для меня старается. Она знает, что я люблю певчих птиц. Степан ловит их для меня...

– Какая глупость! Птицы – божьи творения, они должны жить в лесу, в поле. В крайнем случае – дома, в красивых клетках, но, на мой взгляд, это слишком по-мещански, сразу отсылает к купеческим хоромам или трактиру. А твои отношения с этим Степаном, кстати, заслуживают отдельного разговора...

– Но Люба решительно не любит клеток...

– Понимаю: она любит загаженные птицами мебель и портьеры. Ей-богу, мне жаль здешних служанок, ибо им приходится поддерживать порядок в этой помеси зверинца и сенного сарая...

– Энни, если подумать, я понимаю, что ты во многом права... – Камилла покаянно потупилась. – Но что же следует делать? Как будет правильно?

– Разумеется, мы все исправим, дорогая, – удовлетворенно улыбнулась Анна Львовна. – Для этого, как я понимаю, Любочка и пригласила меня почти за неделю до бала. У нас достаточно времени, чтобы все расставить по своим местам и сделать для Любочки и ее гостей праздник, достойно соответствующий всем стандартам приличного общества. Сено – в сарай, кувшинки – в пруд, вазы – в комнату для археологических коллекций. Ты продумала украшения для садовых павильонов? Уже изготавливают? Потом покажешь мне эскизы, может быть, мне тоже придет что-нибудь в голову... А я тогда займусь комнатами для гостей. В первую очередь, конечно, надо избавиться от собак, кошек и птиц...

Глава 2, в которой лесник Мартын и его горбатая дочь решают изменить свою жизнь, два старика вспоминают о прошлом, а хозяйка усадьбы Синие Ключи перевоплощается в прудовую улитку

– Ливка ночью в сарае оценилась, – сказала Таня отцу, боком входя в дверь. Горб мешал ей смотреть прямо на человека, и почасту в ее взгляде мнилось отсутствующее там лукавство.

– Хорошо, – вздохнул лесник Мартын, который сидел за столом на табурете и нарезал пыжи. – Хоть что-то свежее в нашем заплесневелом углу. Молодая кровь. Сколько щенков-то? Здоровы?

– Пятеро было. Один слабый совсем, я его в бочке утопила, – ответила Таня, ставя на стол крынку с козым молоком. – Четверо вроде хороши. Один кобелек особенно – толстолапенький такой, крупный.

– Вот и ладно, себе оставим, – решил Мартын. – Мурат-то считай старик, на все лапы хромает. Пристрелить бы его, да все рука не понимается, думал, может, летом получше станет, так теперь видно – не оздоровеет уже.

– Меня бы кто пристрелил, – равнодушно отозвалась Таня, глядя в окно и одновременно приготавливая тюрю из молока и белых сухарей. Сухие тонкие пальцы на ее кистях двигались размеренно и независимо, как ножки двух паучков.

– А за Филей кому ходить? Мне, что ли? – ворчливо спросил Мартын. Слова дочери явно не были ему внове.

– А пускай кто хочет, тот и ходит. Мне-то уж все одно будет, – Таня пожала одним плечом, отчего ее фигура еще больше перекосилась. – За его деньги небось найдется кто...

– А ведь неправильно так! – резко сказал Мартын, отпихнув ладонью подставленную Таней миску. – Ты вот своим девичьим языком-то мелешь-мелешь, а ходишь за ним уж сколько лет. И впредь будешь ходить. Да и он к тебе привыкши. А помрет Филипп, все его деньги пшиком пойдут, казне, государству достанутся!

– А Любовь Николаевна и дочка ее как же? – слабо удивилась Таня.

– Любовь-то Николаевна ему по бумагам – никто. А дочка – тем паче.

Филипп Никитин был внебрачным сыном помещика Николая Павловича Осоргина от погибшей в пожаре няни его дочери Люши – Пелагеи Никитиной. Он с ранних лет страдал психическим расстройством, слышал голоса, и нынче, будучи тридцати с лишним лет, находился в умственном возрасте едва ли десяти-одиннадцати. В своем завещании Николай Павлович изрядно обеспечил Филиппа и Пелагею. Но что нужно несчастному безумцу, который всего боялся, и после гибели матери по большей части отказывался даже выходить из своего домика, стоящего в глубине лесникова двора? Горсть изюма, книжки с картинками в светлое время дня, деревянные, пестро раскрашенные яйца и игрушечные лошадки...

– Филиппа Николай, в отличие от Любовь Николаевны, своим дитем так и не признал. Так что родственников у него как бы и нету, – сказал Мартын и глянул на дочь выжидательно.

Жили они вдвоем много лет, оба молчаливые по природе, несчастьям и лесному обеспечению судьбы. Обычно мысли друг друга без слов угадывали. Но тут Таня замешкалась.

– Что ж, нам с тобой ему родственниками назваться? – нерешительно спросила она. – Да как же это выйдет?

– Думай головой, – посоветовал Мартын. – Горб-то у тебя на спине, а не на мозгах вырос.

Таня поджала тонкие губы, зло скривила увядшее до срока лицо. Мартын не обратил на это внимания. Раз решившись, высказал мелькнувшую мысль до конца, глядя в угол и вертя в пальцах уже готовый ружейный патрон.

– Тоскливо мы с тобой живем, дочка, мхом поросли. С Фили тоже радость невелика, даже когда он тихий. Только щенята да пауки у нас и рождаются.

– Отец... – Таня почти выпрямилась, несмотря на горб. В углах ее небольших блеклых глаз вскипели злые слезы. – Отец, да чем же ты меня попрекаешь!..

– А вот и не попрекаю вовсе! – живо возразил Мартын. – Наоборот, на мысль навожу. Гляди, что выходит: Филипп умом ребенок, а телом-то – мужик мужиком, хоть и слабосильный... Тебе видней, ты его столько лет поутру будишь, кормишь, прибираешь. Как там у него с этим делом? Работает оно?

Таня покраснела со лба, пятнами, уходящими под глухой ворот ситцевого, вылинявшего платья.

Мартын ждал. Он знал доподлинно, что его горбатая дочка – не кисейная барышня. Отнюдь.

– Работает исправно, – пробормотала наконец Таня. – Да только что нам с того? Он Синеглазку ждет. Ему голоса ее в жены обещали.

– Ну, это нам как раз не помеха, – усмехнулся Мартын. – Обещали Синеглазку из сказки, значит, так тому и быть. Глядишь, и сбудется. Когда-нибудь.

– А как же...

– Да очень просто. Филя ведь у нас дурак-дурак, а слова понимает. Так я ему прямо сейчас и объясню.

И прежде, чем дочь успела сообразить и воспротивиться, Мартын поднялся, отодвинул табуретку и вышел из избы во двор. Таня кинулась было следом, но тут же, задушив в себе крик, остановилась, скомкала пальцами уголок платка, закусил его зубами и медленно опустилась на табуретку, еще хранящую тепло отцовского тела. Глаза ее на бледном лице казались стеклянными, а все небольшое, изуродованное болезнью тело сотрясала крупная дрожь.

– Мартын, дверь запри! – распорядился Филипп, тревожно поблескивая глазами из угла комнаты, где он сидел на лавке, обхватив руками тощие колени. – А то как бы «они» не влезли!

– Не влезут, не влезут, – успокоил безумца лесник. – У меня на «них» ружье есть.

– Мне тоже надо ружье, – тут же откликнулся Филипп. – Они станут мне грозить, а я их – бах, бах!

– Обойдешься, не дорос еще, – грубовато оборвал Мартын. – Ружье после будет. Сначала тебе надо мужиком стать. Возраст-то у тебя вполне подходящий.

– А как это – мужиком? – заинтересовался Филипп и даже спустил ноги с лавки. – На лошадке ездить? Так я их боюсь – ты же знаешь.

– Бабу тебе надо.

– У меня невеста есть, – с достоинством сказал Филипп. – Синеглазка. Тогда, когда пожар был, у нас с ней не вышло ничего. Но после мы с ней поженимся, «они» мне наверное сказали. А я ей и подарок уже припас...

– Так это еще когда будет, – возразил Мартын. – «Они» же тебе день не назвали. Сколько ж ждать? Да и чтобы мужику с бабой жить, жениться не обязательно.

– Как это? – удивился Филипп. – В сказках, что мне матушка рассказывала, обязательно свадьба была. А уж потом: «стали они жить-поживать...»

– Так на то они и сказки, – объяснил лесник. – А в жизни-то гляди, как получается: отец твой Николай Павлович сначала с Пелагеей тебя прижил, потом с цыганкой девочку Любу, она же нынешняя наша хозяйка Любовь Николаевна, а женат был и в церкви венчался и вовсе с Натальей Александровной Мурановой.

Филипп надолго задумался. Расширенные в полутьме зрачки его глаз жутковато ходили туда-сюда в выпуклых белках.

«Как бы припадка не случилось», – затревожился Мартын.

Но все обошлось – Филипп не испугался и не разозлился. Наоборот, усвоил сказанное лесником и настроился на вполне деловой лад.

– А Люба знает, что мне уже пора – мужиком? – спросил он.

– Нет, – растерялся было Мартын, но тут же нашелся. – А мы ей покудова не скажем. Вдруг у тебя не выйдет еще?

– Чего это у меня не выйдет? – обиженно оттопырил губу Филипп.

– Пусть будет сюрприз. Ты же сам так любишь: просишь принести что-нибудь вкусное, но чтоб ты заранее не знал...

– Да, так! – согласился Филипп. – Я и сам до времени никому не скажу, какой я Синеглазке подарок приготовил.

– Конечно, конечно, – поспешно согласился Мартын и добавил, чтобы отвлечь безумца от фантазий о сказочной невесте. – Готовься, Филя, скоро истопим баню и мыться-стираться пойдем. К бабам, к ним вонючим козлом даже и приближаться не стоит – погонят враз.

– А ты меня веником стегать будешь? – напряженно осведомился Филипп (банные процедуры он и боялся и любил одновременно).

– Не без того, Филя, не без того, – усмехнулся Мартын и пробормотал себе под нос. – Только это уж не я буду...

* * *

Низкие солнечные лучи наискосок проходили между стволами деревьев, окрашивая все в неправдоподобно яркие оттенки. Играл оркестр. Между липами околдованно танцевали пары. Белые платья дам казались розовыми, как перья фламинго.

Откуда-то снова появилась Любовь Николаевна в сопровождении Камиши. Молодые женщины не танцевали, но стояли, склонившись над ручьем, и Любовь Николаевна указывала подруге на что-то явно интересующее обеих.

Поодаль профессор Юрий Данилович Рождественский сидел в кресле, выставленном почти на берегу ручья, и беседовал с Иваном Карповичем – сибирским золотопромышленником и владельцем усадьбы Торбеево.

Иван Карпович был стар и краснолиц. Он ловко и с удовольствием ел с тарелки устриц, отрывая их пальцами и брызгая кислотой из сжатой в кулаке половинки лимона.

– Изрядно! – похвалил он и окинул внимательным взглядом склонившуюся над водой Любовь Николаевну. – Вот эдакого у нас в Сибири нету... – нельзя было понять, что он имеет в виду: женщину или поедаемые им устрицы. – Я, понимаете ли, несколько лет по своим обстоятельствам жил за Уралом и, похоже, кроме российской революции, пропустил еще много интересных здешних событий... Но какая все-таки получилась женщина! Просто не оторвать глаз! А ведь считалась в округе умалишенным ребенком... Как же это все вышло? Вы не можете мне толком пояснить, любезнейший Юрий Данилович? А то я приехал – попал с корабля, точнее с поезда прямо на бал, изумился всему, спрашиваю, и все, даже вроде бы хорошо знакомые мне соседи и оба моих управляющих – бывший и нынешний, что-то темнят, пропускают, отводят глаза. Причем разные люди путаются в разных же местах. Что за тайны мадридского двора? Какой-то заговор?

– Никакого заговора нет, – Юрий Данилович качнул тяжелой головой. – История, конечно, дикая, но вполне укладывающаяся в рамки материалистической науки и российской социальной действительности. Извольте, расскажу все по порядку, коли вам интересно. Но в каком году вы уехали в Сибирь?

– Практически на рубеже веков, осенью 1901 года.

– Понятно. Так вот. Осенью 1902 года здесь, в Синих Ключах произошел бунт, усадьбу сожгли, моего друга Николая Павловича Осоргина убили. Считалось, что его дочь Люба тоже погибла в огне пожара вместе со своей нянькой.

– Я почему-то хорошо помню эту няньку, – прервал профессора Иван Карпович. – Хотя и видел ее всего пару раз. Толстая, неповоротливая, с суровым лицом и умными выпцветшими глазами. Все время крестилась и поминала бога. Как ее звали? Таисия? Прасковья?

– Ее звали Пелагея. Как я понимаю, когда-то бесконечно давно она была пассией Николая. И фактически с самого начала и до своего конца воспитывала Любу. Так вот. После гибели Николая усадьбу унаследовал его воспитанник Александр Кантакузин. Но на очень странных правах. В завещании Осоргина помимо прочих, вполне разумных частных распоряжений было сказано, что Синие Ключи и все немалые активы он оставляет несуществующим совместным детям своей дочери и воспитанника. Любе на момент ее предполагавшейся гибели было 12 лет, Александру 19.

– В чем же смысл? Я имел дела с Осоргиным, собственно, он ведь и продал мне Торбеево. Впоследствии мы разорвали отношения и у меня имелись к нему свои личные счета, но следует признать – дураком он никогда не был.

– Спросить у покойника нельзя, но по общему мнению Николай пытался таким образом использовать своего воспитанника и сформировать нормальное будущее для ненормальной дочери. Бунта и пожара он предположить, конечно, не мог, хотя если бы немного поразмыслил... В общем, Николай Павлович и Пелагея погибли, а Люба, напротив, выжила. Спас ее из огня, как я понимаю, крестьянский мальчик, друг ее детства. Дальше действительно непонятно, но это вовсе не заговор молчания, как вам показалось, а всего лишь – результат невежества нынешней науки касательно невероятно сложных процессов, протекающих в человеческом мозгу. Видимо от пережитого потрясения, у Любы сначала случился шок и амнезия, а потом, напротив, наступило выздоровление от ее детских психических проблем. Девочка не вернулась в усадьбу, где погибли оба родных для нее человека, а наоборот, бежала прочь так долго и сильно, что оказалась аж в самой Первопрестольной. Там она взяла другое имя и жила на Хитровке вплоть до революционных событий девятьсот пятого года, в которых она, как я понимаю, даже принимала самое непосредственное участие.

– Потрясающе! – воскликнул Иван Карпович и, сочно причмокнув, проглотил еще одну устрицу. – Эта молодая женщина, хозяйка усадьбы и бала – ребенком сражалась на баррикадах?!

– Да. А еще, чтобы выжить на Хитровке все эти годы, она воровала, мошенничала и по видимому занималась проституцией, – сухо дополнил Юрий Данилович, в котором романтический порыв престарелого золотопромышленника явно не нашел отклика. – Именно в дни московского мятежа ее случайно вытащил из самого пекла мой студент, теперь уже практикующий врач – Аркадий Андреевич Арабажин (все эти события подробно описываются в романе «Пепел на ветру» – прим. авт.).

– Это вон тот – сумрачный, квадратный, неуклюжий? – Иван Карпович прищурился и указал толстым пальцем. – Судя по тому, как подпрыгивает его партнерша, он то и дело наступает ей на ноги...

– Практикующим врачам редко доводится плясать на балах, – немедленно вступился за коллегу Юрий Данилович. – Времени, знаете ли, не достает. А Аркадий Андреевич мало того, что талантливый вдумчивый клиницист, он еще и серьезно увлечен эпидемиологией, на благотворительной основе работает по профилактике детских эпидемий в рабочих поселках...

– Помилуйте, драгоценный Юрий Данилович! – Иван Карпович шутливо поднял вверх руки. – Я никоим образом не покушаюсь на врачебные таланты вашего подопечного. По вашим

рекомендациям уверен – смело могу доверить ему здоровье своего желудка или селезенки. Но танцует он при том все равно – прескверно!..

Но что это за дубина стоеросовая в платке, с которой ваша протезе теперь так странно разговаривает?

– Это здешняя работница, Агриппина. Она глухая.

– Боже мой, но ведь у нее как будто совсем нет лба. И лицо словно спьяну топором вытесано... Что ж общего между ней и Любовью Николаевной? Не может же эта несчастная нынче прислуживать на балу...

– Агриппина и Люба с детства – подруги. Люба учила ее разговаривать. Сейчас она может и кое-как говорить, и читать речь по губам. Любовь Николаевна старается, чтобы Агриппина ее до конца понимала, именно поэтому так резко жестикулирует и артикулирует.

– Подруги, вы говорите? Вот уж воистину – чуден белый свет... Господи, да о чем же им между собой... Впрочем, погодите, погодите, милейший Юрий Данилович... Вы мне напомнили – я же и сам когда-то умел читать по губам, в школе мы так подсказывали друг другу за спиной у учителя... А ну-ка, если вот так развернуться...

– Ну-тес, ну-тес, – в Юрии Даниловиче оживился естествоиспытатель. – И, пожалуйста, уж читайте, любезный Иван Карпович, вслух...

– Извольте...

– ...все время у большинства людей такие серьезные лица. И это ведь они не к чему-нибудь так серьезно относятся, а к себе самим. Прямо не знаешь, что с этим делать...

– Что ж тут сделаешь-то, Люш?

– Ну не знаю, иногда так хочется петухом посередке закричать или жопу голую им показать...

– Да, твоя голая жопа – это было бы знатно. Вот в голубом зале если, перед десертом... Думаю, им бы понравилось...

– Да ладно тебе, Грунька, что моя жопа в сравнении с твоей! Как баркас перед бригантиной...

Иван Карпович подавился смущенным смешком и замолчал. Потом оба пожилых господина еще некоторое время поухмылялись, глядя на один и тот же столб мошкары, выющийся перед кроной старой липы.

– Гм-м... Ведь Любовь Николаевна нынче замужем? И который же из всех – ее муж? – наконец спросил Иван Карпович.

– Мужа в наличии не имеется, – ответил Юрий Данилович. – Живет за границей. Занимается якобы чем-то историческим.

– Вот как? – удивился Иван Карпович. – Ну надо же – какое курьезное совпадение: когда-то, много лет назад, из Торбеева сбежала моя жена. А теперь, в имении по соседству, сбежал муж. Может быть, так действуют какие-нибудь здешние флюиды?.. И кто же нынче управляет Синими Ключами?

– Сама Любовь Николаевна, как я понимаю. После отъезда мужа она дважды пыталась нанять управляющего...

– Да, да, любезнейший Юрий Данилович! Вам, городскому медику, это ни к чему, но я-то могу засвидетельствовать доподлинно: найти в наши дни хорошего управляющего – огромная проблема! Тот, который выглядит приличным человеком, не способен управиться с крестьянами и хозяйством, тот, кто вроде бы понимает в делах и может их с прибылью вести – непременно окажется шельмой или попросту вором... Вот и у меня эта проблема покуда никак не разрешится. Старый, еще от Осоргина доставшийся мне управляющий – милейший человек, когда трезв, и художник изрядный. Поговорить с ним – одно удовольствие. Да и я сам

обязан ему: насколько понимаю, именно благодаря каким-то его уловкам Торбеево уцелело во время того самого бунта, о котором вы только что рассказали. Крестьяне уже отправились было жечь мою усадьбу, а тут он им что-то такое сказал и как-то утишил... Но – управляющий из Ильи попросту никакой. И дело даже не в возрасте или пьянстве. Он всегда был таким – видел все с какой-то диковинной, эстетической что ли стороны. Например: где сметать стог? Или – где построить новый сарай? Вон там, на косогоре – потому что тогда он будет красиво смотреться на фоне краснеющего клена, реки и осеннего заката. Как вам такое?

– Очень мило, – улыбнулся Юрий Данилович.

– Да зачем же ставить стог или уж тем паче сарай – на косогоре?! – всплеснул руками Иван Карпович. – Вся работа – псу под хвост, стог развалился и сгнил еще осенью, сарай весенним снегоходом на сторону свезло...

– Ах да, я не подумал...

– И так – во всем. Понятно, что я нанял другого управляющего. Впрочем, прежнего тоже оставил в усадьбе – жена умолила...

– Та, которая потом сбежала? – уточнил Юрий Данилович и тут же спохватился. – Простите, простите великодушно!

– Да, да, именно она – чертовка, – добродушно подтвердил Иван Карпович. – Я поздно женился, да и того, должно быть, делать не стоило. Так что одной жены мне вполне хватило... В общем, Илья остался мне на память о женитьбе, а новый управляющий тут же взял дело в свои руки, за год практически удвоил доходы с имения (Илья вечно «входил в положение» и прощал недоимки не только многодетным и больным, но и откровенным пьяницам и лентяям) и одновременно втянул меня в жесткий конфликт по аренде с деревенским миром Торбеевки. Знаете, теперь уже можно признаться, что я уехал домой, за Урал лишь отчасти из-за бегства жены. Вторая часть – это то, что я ничего не понимаю в сельском хозяйстве, и совершенно не хотел входить в вечные российские разборки между помещиками и крестьянским миром. Вот добыча золота – это другое дело, в этом я разбираюсь, скажу без ложной скромности, изрядно...

– Что ж теперь вернулись-то? – спросил Юрий Данилович, еще раз извинился и даже крикнул с досады: неловкости в разговоре почему-то множились сами собой, как грибы после дождя.

– Да как-то потянуло под старость в центр империи... Я ведь для того и Торбеево когда-то купил: чтобы конец жизни тут прожить. Это у нас в Сибири, надо признать, у многих вроде как пунктик такой имеется: называется – накопить денег и уехать в Россию. Будто Сибирь наша – это другая какая страна... Да в чем-то и другая. Красивая, могучая, но вот какого-то здешнего обжитого уюта, тепла, духа жилого человеческого там почасту не достает. А каторжников, напротив, с избытком... Одного я только и знал у нас крупного человека, который никуда уезжать не хотел, и за огромное будущее Сибири всей душой ратовал. Иван Гордеев его звали, и он уж давно в могиле лежит. (История Ивана Гордеева и его семьи подробно описывается в романе «Сибирская любовь» – прим. авт.) Да-с... Так вот, вернулся я сюда, а здесь все те же и все то же, как и не уезжал – управляющий на крестьян жалуется, крестьяне на управляющего, а Илья знай себе закаты рисует... Зато вот в Синих Ключах как все ловко, оказывается, перекувырнулось... Однако, я вас перебил. Что ж вы говорили – не подошли Любовь Николаевне управляющие?

– Да не в том даже дело, что не подошли. По слухам, их буквально выжил отсюда опять же друг ее детства, крестьянин Степан Егоров, выросший из того самого мальчишки-спасителя... Теперь он руководит здесь всеми строительными работами...

– Все интересней и интересней... – качнул головой Иван Карпович, раздвинул пальцем усы и с очевидным удовольствием отправил в рот очередного моллюска. – А муж значит, в отъезде. Покинул решительно жену и маленькую дочурку...

– Любовь Николаевна, как вы, наверное, уже поняли, весьма своеобразная личность...

– Да-с, своеобразия отменного... Но такая красивая женщина с такой демонической судьбой просто не может быть одна. Кто же нынче ходит у нее в любовниках? Укажите осторожно пальцем, мне любопытно...

– Не могу знать наверняка, но как будто бы никто...

– Да не может того быть! Любовь Николаевна очевидно страстная натура и бесконечно далека от сословия кисейных барышень... Неужели тот крестьянин?! Или, может быть, все-таки врач, ваш ученик? ... Кстати, вон они, кажется, вместе куда-то уходят...

– Нет, нет, Иван Карпович, это совершенно невозможно! Аркадий Андреевич приехал в Синие Ключи первый раз за этот год, и я сам, лично, с трудом уговорил его принять приглашение Любовь Николаевны... А ваше предположение насчет Степана – и вовсе смехотворно. Он здесь на особом положении, это верно, но он всего лишь работает в усадьбе, соблюдая при том, конечно, какую-то свою выгоду...

– Как хотите, любезный Юрий Данилович, но я никогда не поверю в полноценное превращение «бешеной Любы» (именно под такой кличкой она когда-то была известна среди соседей) в стопроцентно бесстрастную светскую даму. Особенно после того, что вы мне рассказали о ее дальнейшей судьбе. Где-то она непременно должна находить разрядку для своего темперамента... И – уж поверьте старику – находит.

– Вы так полагаете? – с тревогой переспросил Юрий Данилович. – И даже как будто знаете наверняка?

– Я это определяю по ее глазам – в них почти нет того скачущего электричества, которое так присуще многим современным молодым женщинам. Иногда складывается впечатление, что их ум и их чувства развиты для какой-то другой жизни, еще не существующей в реальном мире... И проще всего этот разрыв, эту неудовлетворенность, конечно, разрешает любовная связь, адюльтер... Думаю, что и Любовь Николаевна пошла этим путем. А нам с вами осталось только угадать имя...

– Боюсь, что для Любы Осоргиной это было бы слишком просто, – нахмурившись, возразил Юрий Данилович. – Но в ваших словах несомненно есть рациональное зерно. Вы, признаюсь, встревожили меня, и я теперь понимаю, что и сам помышлял о чем-то подобном, не умея или не решаясь облечь это в конкретную форму... Я в какой-то степени чувствую свою ответственность за Любовь Николаевну и не отказался бы знать, где же и в какой именно форме она находит выход своим страстям...

– Любопытно, безусловно, любопытно, но кто же нам, старикам, скажет? – усмехнулся Иван Карпович, взял с подноса проходящего мимо их столика лакея бокал и сразу отхлебнул изрядный глоток. – Испробуйте, любезный Юрий Данилович, как я понимаю, божоле, к устрицам идет превосходно...

* * *

Начинало смеркаться. Воздух между деревьями стал золотым и материальным. Волосы Люши казались присыпанными солнечной пылью. Мнилось: если потрогать их пальцем, палец начнет также мерцать.

– Смотрите, Аркадий Андреевич! – Люша указала на лист липы. – Вот эта желтая букашка так прыгает, что просто с ума сойти.

Тонкий палец с розовым ногтем качнул лист. Крошечное насекомое взвилось с сухим щелчком и скрылось в листве.

– Согласен, удивительно, – подтвердил Арабажин. – Интересно, на какой химической основе...

Люша потаенно улыбнулась и, вдруг подняв обе руки, обернулась вокруг себя.

– Вы ни разу не пригласили меня танцевать...

– Вам повезло: я отвратительно танцую, не попадаю в ритм и наступаю на ноги. Когда-то сестра пыталась меня научить, но не преуспела совершенно. Да, впрочем, я и вас не видел среди танцующих...

– С вами я, пожалуй, пошла бы, – еще один оборот вокруг себя, пыльца с волос взлетает золотистым облачком вокруг белого лица и темных кудрей.

– Любовь Николаевна, после рождения дочери вы просто невыносимо похорошели, – не удержавшись, мрачно констатировал Арабажин. – А ведь прежде, подростком, были вполне дурнушкой. Интересно...

– ...На какой химической основе? – улыбаясь, подхватила Люша и добавила уже серьезно. – Это просто, Аркадий Андреевич. Глядите. Главное: вот все это – желтая прыгучая букашка, береза в густом темном платье, стрекоза, что охотится над речкой, поля, перелески, вон тот парящий орел – все это принадлежит мне. И я принадлежу этому. И потому, что все это у меня есть... поэтому я всегда, каждую минуту знаю, чувствую, как абсолютно правильно все устроено в мире. Я не получила никакого религиозного воспитания и не могу судить наверняка, но почему-то думаю, что истинно верующие люди называют это чувство, это ощущение Богом, Божественным присутствием во Вселенной.

Аркадий почему-то почувствовал себя задетым.

– Абсолютно правильно устроено? А как насчет того, что именно в этом куске пространства, единение с которым вы сейчас так поэтично описали, несколько лет назад убили вашего отца, живьем сожгли вашу воспитательницу, вы сами чудом избегли гибели. Потом солдаты пороли и вешали крестьян... Это все тоже правильно?

– Конечно! – к удивлению Аркадия быстро сказала Люша. – Отец был сам виноват. Он был еще жив, но больше не хотел видеть, слышать, думать мир. Мир не раз и разными способами предупреждал его, а потом... Няня сама не захотела бы жить после смерти отца, я знаю, она мне это сказала. Крестьяне просто расплатились за то, что сделали. Это как на рынке, когда цена известна заранее. А я... я была неправильной, бесполезной, я нарушала что-то... но во мне было много сил и правильно устроенный мир дал мне шанс: попробовал меня на излом. Я должна была измениться или погибнуть. Я выжила и изменилась. Причем не один раз. Думаю, с этим вы согласитесь.

– Соглашусь. Вы поклонница Ницше?

– Не понимаю, о чем вы. А вы понимаете, о чем я говорю?

– Пожалуй, могу понять, но решительно не могу почувствовать. Единение с березами и букашками все же превышает моих возможностей. Букашка принадлежит мне? Я принадлежу букашке?

– Но это же очень просто. Глядите! – Люша улыбнулась Аркадию чуть кривоватой улыбкой, шагнула к берегу ручья, быстро нагнулась над водой и показала ему большую улитку в спиральном домике, которую она держала двумя пальцами. – Видите, я, огромная и страшная, ее схватила, и она захлопнула домик крышечкой. Она живет в воде, воздух ей вреден. Сейчас я верну ее домой. Ну глядите же! Видите, как она осторожно выглядывает, щупает камень, медленно проверяет, миновала ли опасность... Разве вы не можете прямо сейчас на несколько мгновений стать ею? Таким влажным, медленным, маленьким и тяжелым. Вы медленно думаете, вокруг вас теплая, мутная, родная вода...

Аркадий почувствовал, как внезапно закружилась голова, мир вокруг как-то померк, помутнел... Внушение? Цыганские штучки? Что? Острый, как будто бы лукавый взгляд молодой женщины.

– Не можете? Не хотите? Боитесь? Ну давайте я вам покажу. Теперь я – улитка. Дотроньтесь до меня, сожмите руку, как будто бы взяли меня пальцами. Ну же!

Аркадий, повинуясь, стиснул Люшину руку повыше локтя, ощутил ее теплую упругость. И тут же девушка испуганно отпрянула, лицо окаменело, прозрачные глаза сделались кварцево-каменными, как будто захлопнулась роговая крышечка улитки.

– Ах!

Аркадий отшатнулся, сделал два шага назад.

Люша тут же вернулась, поправила шляпку, отряхнула испачканные в тине пальцы.

– Я больше не улитка... Аркадий Андреевич! Вы что, испугались?

Засмеялась, но тут же оборвала смех, взглянула искоса...

– Мне это очень легко. Я сама очень долго прожила в домике, как будто на дне пруда. Вы ведь уже один раз вытащили меня, в девятьсот пятом году. Помните, как вы хотели помыть меня в корыте, а до этого смывали кровь из своей раны...

Аркадий не понимал происходящего. Это игра? Действительно за пределами оригинальное видение и ощущение мира? Как и тогда, когда он принес с баррикад сомлевшего мальчишку Лешку, оказавшегося девочкой Люшей, ему вдруг показалось, что с ним кокетничают. Тогда ей было 15 лет, и в отношениях мужчин и женщин для нее не было тайн. Сейчас ей 19. Она замужем, у нее ребенок. На мгновение ему поместилось, что его прямо соблазняют... Он выругал себя за грязные фантазии. Люша просто рассказывает ему о своих детских ощущениях, а улитка – лишь повод к невеселым воспоминаниям...

Помолчали – немного и на удивление легко. Аркадий подумал, что так же легко молчалось ему только с одним человеком на свете – с его лучшим другом Адамом Кауфманом.

– Так много люди всего делают, и часто какое-то ненужное, – задумчиво сказала Люша, глядя на дальний заречный луг, над которым уже собирался туман. – Зачем?

– Во всем есть смысл.

Обернулась живо, даже привстала на цыпочки, чтобы быть ближе к ответу:

– И вы его знаете, Аркадий Андреевич?

– Конечно, на то люди образование получают. Каждое живое существо хочет выжить само и свой род успешно продолжить. И живет, и учится всему, и делает все, что его к этому приближает. Балы, которые Анна Львовна у вас обустраивает, девичьи хороводы в Черемошне, парни на кулачках дерутся, дворяне на дуэлях – это все одно. Выжить и продолжиться. Сумеет не каждый, отсюда конкуренция. Отсюда же – постепенное совершенствование навыков, приспособлений. Летать – полезно, небо – ресурс. У птиц – крылья, у нас вот – аэропланы появились.

– Это просто, – задумчиво сказала Люша.

– Кажется, что да, – усмехнулся Аркадий. – Однако до господина Дарвина никто не додумался почему-то.

– Но вот революции – это что? Это ведь у карасей или там зябликов не бывает?

– Это еще проще, если подумать. Цель та же – выжить и продолжиться. Только масштаб больше. Видали, как хозяйка лепешки на сковороде переворачивает? Чтобы с обеих сторон пропеклись. Так же и общество. С одной стороны – и деньги, и образование, и земля. И ладно бы в толк, а уж пригорела лепешка-то – сами видите, что у вас с землей делается: сколько из старой аристократии эффективных помещиков после реформы образовалось? Ваш отец, теперь вот муж, да и то со стороны и поневоле... Кто еще? С другой же стороны – тесто сырое: ни знаний, ни средств, ни умений толковых. Дети там растут сытые и апатичные, здесь – злые, голодные. А главное – ни там, ни там развития нет, или оно исчезающе медленное...

– А кто ж хозяйка-то? – спросила Люша.

– Какая хозяйка? – Аркадий вскинул недоумевающий взгляд.

– Ну, которая будет лепешку переворачивать...

– Партия, РСДРП (Российская социал-демократическая рабочая партия – прим. авт.) – не хозяйка, но рычаг. Эти люди несколько десятилетий готовились... Каторга, ссылка, лишение

прав, гибель тех, кто взялся за дело преждевременно... Да вы ведь сами помните 1905 год, были, так сказать, в гуще событий...

– Скучно... – неожиданно сказала Люша и зевнула. – А в этом весь ваш смысл?

Аркадий, против Люшиных ожиданий, не обиделся, а засмеялся.

– Я вас понимаю. Сам, когда студентом был, все с Юрием Даниловичем о том же спорил. Очень уж мне хотелось, чтобы промежду Богом (в которого я не верил) и зоологией в чистом виде затесалось бы что-нибудь такое специфически душевное, лично для меня приспособленное...

– А теперь вы, значит, точно осознали себя этим... рычагом, что ли? – с непонятной почти враждебностью спросила Люша. – И тем сердце успокоилось?

Аркадий помолчал, потом ответил серьезно.

– Я – врач. Это в первую голову. Но и член партии тоже. Этого не изменить.

– Что ж. Вы врач и член партии. А я кто же? И скажите еще: перевернись эта ваша лепешка, что будет с Синими Ключами?

– Они будут принадлежать народу, – подумав, сказал Аркадий.

– Нет. Они будут принадлежать мне. И вы, Аркадий Андреевич, запомните это на всякий случай. Не как врач, а как член партии, – недобро прищурившись, сказала Люша.

* * *

Глава 3, в которой Дюймовочка и Италияночка обсуждают, как женить содомита, два революционера спорят о физиологии женской привлекательности, а читатель знакомится с близнецами Атей и Ботей и имеет возможность заглянуть на Калужский рынок.

– Я на все готова. Но что ж я могу сделать? Италияночка, я прямо прошу твоего совета, – княгиня Ольга Андреевна Бартенева сплела короткие пухлые пальцы и сжала их так, что побелели костяшки.

В просторном будуаре, богато декорированном различными произведениями искусства, царил полумрак. Толстые восточные ковры заглушали звуки. Розоватый дымок и плывущий по комнате слабый цветочный запах указывали на то, что где-то спрятана курильница с благовониями. По вазе с фруктами медленно ползала оса, за движением которой как будто бы и наблюдала гостья – темноволосая, строго одетая дама средних лет.

– Я думаю, Дюймовочка, что Сережу надо срочно женить, – медленно сказала она. – Сам по себе он добрый и неглупый мальчик, а ответственность за семью поможет ему наконец повзрослеть. Моего Альберта – ты же помнишь, каким легкомысленным он был, – женитьба просто преобразила.

Когда-то очень давно подруги вместе учились в пансионе и с тех пор называли друг друга школьными кличками. Впрочем, Мария Габриэловна Осоргина (в девичестве Гвиечелли) действительно была итальянкой по рождению, а Ольга Андреевна Бартенева оставалась весьма невелика ростом (с годами она, конечно, не выросла, но очень раздалась в ширину). Все эти годы дамы были в курсе всех проблем друг друга, но оставались столь хорошо воспитанными, что никогда вслух не называли вещи своими именами. Правда же заключалась в том, что единственный сын Ольги Андреевны, княжич Сережа Бартенев, был избалованным шалопаем с весьма дурными наклонностями. К тому же с самого детства и по сей час он был не способен сосредоточиться ни на каком деле больше пяти минут, и, подрастая, то и дело попадал в различные предосудительные переделки, компрометирующие знатную семью в глазах царского двора и всего их круга.

Мария Габриэловна была благополучной матерью четверых взрослых и пяти подрастающих детей (еще двое умерли в младенчестве), и уже только из одного этого обстоятельства Ольга Андреевна готова была прислушиваться к любым ее рекомендациям.

– Но как я это сделаю? Ты же наверняка слышала... знаешь Сережину репутацию... Поверь, Италияночка, там далеко не все правда, многое к мальчику просто прилипло заодно, потому что он всегда был готов взять на себя чужую вину, лишь бы не выдать приятелей, а они, конечно, всю пользовались его благородством... Но, боюсь, что ни одна семья нашего круга...

Мария Габриэловна только покачала головой, взяла из вазы ароматный дюшес и начала аккуратно чистить его позолоченным ножиком. Она прекрасно знала, что «благородство» Сережи Бартенева объяснялось исключительно тем, что ему (в отличие от поделщиков-лоботрясов) все и всегда сходило с рук – его долги платили, скандалы улаживали, обиженных и оскорбленных умиротворяли родители и нанятые ими лица. Но знала она и другое: если не хочешь испортить отношения с женщиной, никогда, ни при каких обстоятельствах не говори

ей дурного о ее ребенке. Это право любая женщина признает только за собой. И, если нужно, она все скажет сама.

– Наверняка можно поискать среди тех семей, которые польстятся на знатность и богатство Бартеневых, – возразила Мария Габриэловна. Короткость их с княгиней отношений позволяла говорить об этом напрямую.

– Да, Италиячка, ты, конечно, права, – кивнула Ольга Андреевна. – Я сама готова была бы уговорить мужа и женить Сережу на порядочной девушке хотя бы и из мещан, но... но... Но его не привлекают порядочные девушки! Он о них и слышать не хочет!..

Мария Габриэловна молчала, выжидая, смакуя каждый кусочек груши. Оса покинула вазу и жадно, подрагивая полосатым брюшком, пила сладкий сок с поверхности почти прозрачной фарфоровой тарелочки.

– Его обычный круг... Актрисы, балерины, певички... Ты скажешь: среди них наверняка найдутся уставшие и разочаровавшиеся, те, которые с удовольствием и благодарностью променяют неверную сценическую жизнь на титул и достаток. Уверена, что это так. Но и они не интересуют моего сына!..

– На что же он согласится?

Молчание. Чуть слышный хруст пальцев. Приглушенное жужжание обьевшей осы, которая, ленись взлететь, переползает по ободку к следующей капле дюшесового сока.

– Италиячка! Но я же не могу женить его на оперном теноре или его собственном камердинере! Это против церкви!!

– М-да-а... – Мария Габриэловна деликатно отвела от подруги взгляд продолговатых, приподнятых к вискам глаз и осторожно, ножичком согнала осу с оставшегося кусочка дюшеса.

– Ну же, Италиячка, ты скажи что-нибудь теперь! – требовательно воскликнула Ольга Андреевна. – Не молчи!

– Я знаю... слышала, что среди современной молодежи... Может быть, это тлетворное веяние, извращенная мода, стремление казаться...

– Нет, – решительно возразила Ольга Андреевна. – Мы с Сережей весьма близки, и он не раз прямо говорил мне, что я – единственная женщина в его жизни. Кроме меня, он как-то с уважением и пожалуй даже с восхищением отозвался об этой вашей экзотической родственнице – Любови Николаевне. Но она, как я помню, уже замужем.

– Да, у Любочки чудесная малютка, они именно недавно гостили у нас, и я просто не могла от нее оторваться. Маленькие бамбины такие сладкие!.. Понимаешь, Дюймовочка, – Мария Габриэловна доверчиво и слегка печально улыбнулась подруге. – За свою жизнь я так привыкла, что где-то рядом со мной всегда есть колыбель с младенцем, что теперь, когда для меня все закономерным порядком закончилось, я все время чувствую эту пустоту возле себя...

Ольга Александровна отвернулась, кусая губы. Ее круглое полное лицо покривилось, как неумело перевернутый на сковороде блин. Мария Габриэловна, погрузившись в себя, как будто ничего не заметила и продолжала.

– Мои дочери пошли в меня – настоящие наседки. Они сами прекрасно обихаживают своих деток, и мне там нет места. Любочка же – другое дело. Она ни в каком разе не мать-наседка, и, устраивая в Москве свои дела, охотно уступала мне Капочку... С виду она держится безукоризненно, но я чувствую, что внутри в ней так и осталось... какая-то дикая непримиримость... Возможно, именно это и привлекает Сережу?

– Не знаю. Я видела вашу Любочку всего один раз, два года назад, мне показалось, что она похожа на озорного мальчишку, цыганенка...

– Да, да, в нашей Любочке действительно есть цыганская кровь, но об этом т-с-с... – Мария Габриэловна, улыбнувшись, приложила палец к губам.

– Ты же знаешь, я не болтлива, – вздохнула Ольга Андреевна. – Но я несчастна...

– Прости меня, Дюймовочка! Ты страдаешь, а я все о своем и о себе! – покаянно воскликнула Мария Габриэловна. – Но скажи: может быть, удастся как-нибудь по-хорошему договориться? С Сережей и... Вспоминая Любочку: мне до сих пор кажется, что ее брак с Александром Кантакузиным был всего лишь имущественным расчетом с обеих сторон, так как там изначально имелось весьма странное завещание от Любиного отца. После ее муж довольно быстро уехал за границу, якобы для завершения образования. Но ведь уже была Капочка, а как я понимаю, ты мечтаешь именно о наследниках... Все-таки Сережа – молодой князь, и в будущем будет очень богат...

– Но как же...

– Дюймовочка, вспомни: нет ли знакомых девиц, которым он, пусть чисто по дружбе и воспитанию, оказывал знаки внимания? Может быть, подруги Сережиного детства...

– Хм-м... Пожалуй, есть одна – Юлия фон Райхерт.

– Какова собой?

– Длинная и холодная, похожа на вазу, которую по случаю долго держали в леднике. Красавица в классическом стиле. Умна. По виду – всех презирает. Скорее произведение искусства, чем девица. По возрасту – почти старая дева. Сережа уж давно время от времени с ней светски общается, и охотно ссылается на это приличное знакомство во время наших семейных скандалов. Подозреваю, что из-за своей откровенной замороженности Юлия кажется ему безопасной.

– Ее отец – тот самый знаменитый адвокат фон Райхерт, который недавно так блестяще выиграл процесс Касьянова? Об этом писали во всех газетах... Увы, боюсь, что здесь ничего не выйдет. Ни титул, ни деньги их не интересуют – у него огромные гонорары...

– А вот тут ты неправа, Италиячка. Мать Юлии когда-то недвусмысленно подкатывалась ко мне и даже пыталась устроить помолвку. Я тогда удивилась, ибо Сережину репутацию, увы, не скроешь, и даже навела справки. Выяснилось, что адвокат фон Райхерт – заядлый игрок. Уже много лет он проигрывает решительно все, включая свои огромные гонорары. Жена порок мужа тщательно скрывает, пускает всем пыль в глаза и балансирует на грани нищеты. В общем-то желание дочери от всего этого отстраниться можно понять.

– Так вот же случай! – темпераментно воскликнула Мария Габриэловна. – Юлия фон Райхерт – не хористка и не мещанка. Умна, красива. Дюймовочка! Действуй немедленно!

– Видела бы ты ее мать, эту Лидию Федоровну фон Райхерт! – поморщилась Ольга Андреевна. – Смесь невероятных амбиций, подбострастности и близкой истерики. Как она врет и заламывает руки... Разговаривая с нею, я сама едва сдерживаюсь...

– Дюймовочка, ты неправа, – укоризненно покачала головой Мария Габриэловна. – Ты лучше, чем многие, должна ее понять – каково ей из сохранения репутации семьи много лет скрывать порок близкого человека, в котором совершенно нет ее собственной вины...

Упрек получился неожиданно прямым и сильным. Мария Габриэловна, закончив говорить, даже облизнула губы от волнения (обычно она не позволяла себе этот вульгарный жест). Ольга Андреевна тяжело поднялась с дивана и молча прошла по комнате, разгоняя волну нахлынувших чувств. Отщипнула и съела виноградину из вазы. Брезгливо смахнула со стола на пол окончательно отяжелевшую осу. Хотела тут же раздавить ее, но не разглядела в полутьме и впустую топнула маленькой пухлой ножкой.

– Ты права, Италиячка, – наконец без выражения сказала она, глядя в холодный зев не горящего по летнему времени камина. – Я осуждаю в Лидии Федоровне свое отражение в зеркале. Презирая ее, убеждаю себя, что я – совсем не такая, пытаюсь отторгнуть часть себя, часть своей жизни, которая мне тягостна безмерно... Что ж... Как ты думаешь: мне все-таки надо говорить с ней? С ее мужем-адвокатом? Или уж прямо с Юлией?

– Как ты захочешь, – торопливо заговорила Мария Габриэловна, почти испуганная минувшим неловким эпизодом. – Думаю, с матерью тебе будет все-таки проще всего. Но,

учитывая отца, надо будет составить брачный контракт... И еще – следует как-то правильно и тактично подготовить Сережу, чтобы он согласился и не разрушил все в последний момент. Кстати, где он сейчас?

– В ресторане, в трактире, в театре, у цыган, в конюшне... В общем, я не знаю... – Ольга Андреевна сжала пальцами виски. – Итальяночка! Сережа знает тебя с рождения, он любит бывать у вас, едва ли не в единственном из приличных домов, говорит, что у вас тепло и душевно, а твой Лео в халате и феске похож на счастливого моржа в окружении своего моржового гарема и детенышей (Мария Габриэловна улыбнулась сравнению)... – ты не согласишься ли поговорить с ним? Кстати, приведешь в пример замужество вашей Любовь Николаевны, к которой у него симпатия... А я встречу с этой Лидией Федоровной...

– Дюймовочка, если ты просишь, я, конечно, попробую, – Мария Габриэловна развела руки и одновременно склонила голову набок в жесте сомнения. – Но, ты же понимаешь, я ничего не могу тебе обещать...

– Не надо обещать...и... Спасибо тебе! Для меня уже то много значит, что я не одна блуждаю в этом лабиринте, что ты принимаешь участие... Благодарю тебя от всей души!

– Ну что ты говоришь, Дюймовочка, – смутилась Мария Габриэловна. – Мы же с тобой... Да впрочем, хватит слов: пора действовать. Сейчас мы с тобой составим конкретный план...

Громоздкая карета Марии Габриэловны отъехала от особняка Бартеневых на Большой Дмитровке, когда уже совсем стемнело. Дневная жара спала, и вольно раскинувшийся во сне город дышал ровно и спокойно. Темнота пахла нагретой, пошевеливающейся под легким ветерком листвой, лошадьми и почему-то глазурированными пряниками. Мария Габриэловна клевала носом и думала о том, что муж, наверное, волнуется ее задержкой и, как всегда, успокаивает себя работой, допоздна засиживаясь за большим чертежным столом при свете низко висящей лампы.

Ольга Андреевна, непривычно оживленная, с аппетитом доедала фрукты и принесенные горничной сласти, запивая все это холодным морсом и строя далеко идущие планы.

Полуживая оса сидела на наборном паркете у ножки козетки и медленно чистила помятые крылья. Завтра с рассветом прислуга откроет окна для проветривания, и тогда, если хватит сил, у нее будет шанс вылететь в сад и вернуться на чердак, где в круглом чешуйчатом гнезде уже много лет благополучно проживала ее осиная семья.

* * *

* * *

Шестилетние близнецы Анна и Борис (но все называют их детскими прозвищами – Атя и Ботя) сидят на подушках по обе стороны от кресла Камиллы Гвичелли и бережно держат ее за руки. Близнецы вовсе не похожи между собой. Атя мелкая, гибкая, текучая. Небольшое лицо хочется назвать мордочкой. На нем – тонкие подвижные черты злой куницы. Ботя – основательный, хотя и невысокий, с плоскими большими ступнями и такими же короткопальными ладошками. Двигается медленно, но непрерывно и достаточно точно. Как и у сестры, в его облике есть нечто зоологическое. Оба очень много едят – Атя быстро и жадно, кидаясь от одного к другому, но все как-то не впрок, всегда оставаясь едва ли не тощей, а Ботя – внимательно и степенно, не оставляя на тарелке ничего съедобного и тщательно обсасывая каждую косточку.

Шесть лет назад близнецы родились на Хитровском рынке от неизвестного отца. Их мать, солдатка, скончалась в ночь их рождения. Выжили младенцы только благодаря попечению Люши и Марыси и деньгам хитровского вора Гришки Черного. До четырех лет Атя и Ботя

нищенствовали на папертях вместе с дедом Корнеем, и к замешательству, а то и ужасу обитателей Синих Ключей, сменив место жительства, отнюдь не растеряли до конца привычки, приобретенные ими на родном рынке. Оба ребенка были своеобразно, но весьма развиты, так как их попечитель – нищий пьяница Корней с самого начала много разговаривал с ними и уделял достаточно времени их воспитанию. При том Атя до сих пор подворовывала, Ботя забавно и изощренно сквернословил, и оба при малейшей возможности (например, в толчее ярмарки или свадьбы) возвращались к своей первой специальности – то есть сдергивали с голов шапки и шли просить милостыню, протяжно и жалостно завывая.

Сейчас оба внимательно слушают рассказ Камиши. Она рассказывает им про Венецию. Венецианцы в ее рассказах получаются самыми главными в мировой истории и выше других людей приблизительно на полторы головы. Атя представляет их темными ангелами в белых масках с шелковыми матовыми крыльями, а Боте мерещатся пустынные и бесконечные выщербленные лестницы, освещенные конусами света и спускающиеся куда-то под воду. Все это загадочно пересекается с сумрачным миром их младенчества – парной клоакой Хитровки, толстостенными арками и низкосводчатыми потолками старой Москвы.

– А в лагуне, между камней, в прозрачной воде живут маленькие крабики, – оборачиваясь к Боте и улыбаясь, говорит Камиша. – Они, как и ты, очень любят покушать. Едят же очень смешно – садятся за камушком, как за столом, растопыривают клешни-локотки и эдак деловито отправляют в усатый рот кусок за кусочком...

Атя рассеянно трется нежной щекой об исхудавшую кисть Камиллы и думает о чем-то своем – жизнь крабиков не занимает ее.

Ботя же, наоборот, слушает очень внимательно – с тех самых пор, как дед Корней носил близнецов в коробе на грибную добычу и пускал ползать в траве на лугу, мальчик – тщательный наблюдатель и исследователь жизни природы.

Увы! – насельников Синих Ключей его наклонности радовали ничуть не больше, чем неистребимое воровство Ати.

Ботя ловил бабочек и мух, отрывал им крылья и ноги, а потом пытался собрать и приставить все обратно, носил жуков и пауков в коробочках, часами наблюдал за земляными муравьями, насыпая к их ходам то сахар, то соль, то соду и следя за поведением насекомых. Как-то нашел мертвого скворца, вскрыл и аккуратно, на дощечке разложил все его внутренности. Камиша, когда увидела эту дощечку и поняла, что именно перед ней находится, упала в обморок, а когда очнулась, у нее от удара об пол открылось кровохарканье, которого до того уже месяцев пять как не случалось. Ботя, сообразив, что натворил, плакал навзрыд, стоял на коленях на горохе, который сам же себе и насыпал, целовал Камише ноги и руки, умолял о прощении и говорил, что больше никогда-никогда так делать не будет.

Добрая Камиша сразу поверила и простила мальчика, но уже через неделю Ботя распотрошил Камиллиными маникюрными ножничками большую прудовую улитку, а после ходил по усадьбе и, улыбаясь замороженной медленной улыбкой, рассказывал всем подряд (даже, жестами, глухонемой Агриппине), что внутри у большой улитки были вот такусенькие маленькие улиточки. Конюх Фрол слушал заинтересованно, ковыряя ноздрю темным пальцем, Груня попросилась поглядеть, как это выходит, служанки плевались, и в конце концов огородница Акулина знатно отходила мальчика веником, «чтобы дурь из головы-то повылезла».

Любовь Николаевна, которой, естественно, во всех подробностях докладывали о Ботиных «подвигах», даже решила посоветоваться на эту тему с профессором Рождественским.

– Любовь Николаевна, но вы же знаете, я – отнюдь не специалист в воспитании детей...

– Юрий Данилович, когда-то вы моему отцу про меня самый верный прогноз дали, лучше, чем все другие светила, которые вроде бы на развитии детей стаю собак скушали. Потому не отпирайтесь понапрасну и скажите мне теперь как врач: во что ж это у Бориса в даль-

нейшем вырастет? Он что, извращенец какой-то? Почему он живое живым не чувствует? Не надо ли его уже теперь чем полечить или хотя бы выпороть как следует?

– Я по вашей просьбе говорил с мальчиком, и не вижу в нем вовсе никакой патологии. Он не извращенец. Он – естествоиспытатель. Хочет узнать, как все устроено. В кругу, где я сам рос и образовывался как личность, половина таких. И медицинское и биологическое образование обязательно включает в себя приготовление препаратов, в том числе и прижизненных. Еще грек Демокрит...

– Я вам верю, – медленно кивнула Люша. – И велю домашним Ботьку не трогать и не ругать. Но, пожалуй, это хорошо, что я сама образовывалась в другом кругу... А скажите, Юрий Данилович, Аркадий Арабажин, ваш ученик и из вашего, как я понимаю, круга... Впрочем, нет, не говорите ничего, это неважно... А то, что действительно важно, я сама...

– Как изволите, любезнейшая Любовь Николаевна, как изволите, – Юрий Данилович улыбнулся и притушил острый взгляд припухших глаз, почти скрывшихся в складках серовой кожи.

Любовь Николаевна его улыбки не приняла и осталась серьезной.

* * *

– Аркадий, так вы все-таки поехали на этот бал? А ведь как, помнится, кочевряжились, получив приглашение: не поеду, не вижу себя в..., пустое времяпрепровождение... Ну, так рассказывайте немедленно, чего же ждете?! Неужли не видите вы, как я в нетерпенье томлюсь...

Кисельно-розовое вечернее небо застыло над крышами, превращая кривую московскую улочку в лубочную картинку. Остро пахло пылью, тополями и ситным хлебом. Дверь трактира, возле которого стояли молодые люди, в размышлении – зайти или нет, то и дело открывалась, то впуская, то выпуская кого-то, и тогда из нее выплескивались новые запахи, горячие и вкусные, и россыпь голосов, смеха, фортепьянного дребезжанья – как подсолнечная шелуха.

– Лука, – с подозрением спросил Арабажин. – Как вы думаете, почему это в вашем нетерпении к моему рассказу мне видится нечто непристойное?

– Да потому, что вы, любезный Аркаша, всегда были ко мне предвзяты. Всегда-с! С того самого первого дня, когда мы с вами вместе боролись за народное дело на пресненских баррикадах...

Лука Евгеньевич Камарич – высокий, горбоносый человек с темной остроконечной бородкой, шутиливо приобнял товарища. Арабажин, который вообще плохо переносил чужие прикосновения, осторожно высвободился.

Они действительно познакомились в трагическом декабре 1905 года, когда – геолог и медик – вместе изготавливали бомбы в лаборатории Прохоровской фабрики. Потом последовала случайная встреча в городе и опять же совместное участие в судьбе хитровской оборванки Люши, оказавшейся впоследствии Любовью Николаевной Осоргиной.

Камарич был балагур и весельчак и имел самые неожиданные знакомства в различных кругах московского общества. Арабажин почти всегда казался букой, чуть бравировал своей серьезностью и глядел на мир исподлобья – впрочем, лоб у него действительно был высокий и хорошего, ученого вида. Сын модистки и мужского портного, Камарич выглядел значительно аристократичнее своего кряжистого товарища, и вечно подшучивал над его хмуровато-серьезным отношением к миру.

Притом отношения молодых людей, которые временами казались весьма доверительными, так и не стали непринужденными – какое-то напряжение в них всегда чувствовалось. Может быть, причиной тому было то, что оба в соответствующих кругах числились партийными, но принадлежали к разным партиям. Камарич со студенческих лет состоял в партии социалистов-революционеров, примыкая к ее радикальному, террористическому крылу (впро-

чем, в последние годы его взгляды, кажется, несколько смягчились), а Аркадий был членом РСДРП.

– Что ж наша милейшая Любовь Николаевна? Хороша с наружности?

– Хороша, – буркнул Аркадий. – С прежним, как мы с вами ее на Хитровке видали, и сравнения нет. Такой, знаете ли, полный расцвет женской сущности. Даже хищноватый немного, представьте, в оранжереях бывают тропические цветы, с каким-то слегка извращенным, плотоядным почти избытком красок, форм, запахов. Притом они остаются именно цветами, естественными созданиями природы... Я бы, как медик, с рождением ребенка это связал, беременность запускает физиологический механизм, ну и конечно полноценное питание, свежий воздух...

– Арабажин, да подите вы со своей физиологией! – с досадой махнул рукой Камарич. – Счастлива она? Что муж?

– Мужа ее я не видел. Он в отъезде, где-то за границей. Не сказать, чтоб Любовь Николаевна заметно по нему скучала... Она в делах, светских и хозяйственных, вокруг нее множество людей, и новая женская красота ее, конечно, не остается в округе незамеченной...

– Ах, как я все это обож-жаю! – воскликнул, сплетя пальцы, Камарич. – Кому нравятся анемичные девственницы? Никогда не мог понять! Вот эта вот круговерть вокруг молодой красивой женщины, пусть замужней и даже с ребенком – недоверие и колочение сердец, игра, легкий привкус собачьей свадьбы на губах, сверкающие глаза, раздутые ноздри, топорщенье шерсти на загривках... Ну почему меня не пригласили?!.. Что ж, любезный Аркаша, но вы-то, конечно, воспользовались случаем и своим правом, как старый друг, спаситель и прочее? Приударили как следует за нашей Люшей?

Аркадий неприятно скривился.

– Тыфу на вас, Лука! Что вы несете! Упрекаете меня в увлечении физиологией, а сами...

– Так мы же все звери, Аркадий Андреевич, вы разве не знали? – рассмеялся Лука. – Слегка позолоченные цивилизацией, как купола наших церквей, а под сусалом-то – что? Легко догадаться, коли на нашу жизнь взглянуть, глаз не щуря... Но что ж – вы и Люша? Она, я помню отчетливо, еще и прежде, девчонкой, как-то на вас реагировала...

– Увольте, Лука! – Аркадий вскинул руки в то ли угрожающем, то ли защитном жесте. – Я не готов совершенно принимать участие в столь красочно описанных вами зоологических удовольствиях...

– Господи, ну как вы, право, серьезно все воспринимаете. Не обязательно же альковные приключения, сердечную радость ведь может доставить и дружба, только слегка окрашенная эросом. Тем более с такой неординарной личностью, как Любовь Николаевна...

– Дело в том, Лука, что я слишком просто устроен для всех этих современных интеллигентских штучек. Я холостой молодой мужчина и дружить с замужней красивой женщиной, коли она мне не родственница, не могу. Пускай другие с ней дружат, если им желательно. А все прочие варианты я воспринимаю однозначно, как разврат.

– Экий вы строгий, Аркадий Андреич...

– Да уж такой вышел!

– Не кипятитесь, Арабажин, мне ведь действительно про бал и Люшу интересно, – примирительно сказал Лука. – И я вовсе вас злить и даже провоцировать не намеревался. Просто у меня характер такой...

– Тоже мне, провокатор нашелся... – остывая, проворчал Аркадий. По природе своей он был упрям, но неагрессивен и любые извинения всегда, с раннего детства, принимал, предпочитая их ссоре и драке. – Ладно уж, зная ваш интерес, расскажу про бал. Итальянская семья дядюшки Лео, надо признать, там изрядно постаралась...

Аркадий рассказывал так же, как делал и все прочее – неторопливо и обстоятельно. И в общем-то, раз начав говорить и следуя своему собственному плану рассказа, он уже

почти не обращал внимания на собеседника. А зря. После его последней, перед началом рассказа реплики явная заинтересованность Камарича вдруг странным образом куда-то пропала. Он нервно кусал губы, слушал невнимательно и глядел в сторону. Какая-то вдруг возникшая мысль явно не давала ему покоя.

* * *

В Калуге над торговой площадью – облака, галки и колокольный звон, тугими волнами плывущий от Троицкого собора. Гостиные ряды – как пряничный терем в ярких сахарных завитушках. Кругом толпится праздный и деловой народ. Здесь продают разноцветные яблоки, поросят, всякую домашнюю всячину, и со старым шарманщиком выступают акробаты, мальчик и девочка – гибкие, худые, с шелушащимися острыми локтями и золотухой под волосами.

Люша внимательно смотрит на прыгающих и гнущихся под заунывный напев шарманки детей. Степан стоит рядом, охраняет корзину с покупками от рыночных воришек и вертит палочкой в зубе.

– Люш, ну пошли, что ль? Чего тут глядеть-то?

– погоди, Степка,ждемся, как они кончат. Или уж ты иди, если тебе скучно, посмотри пока, что люди продают-покупают. Корзину тут оставь. Потом опять сюда приходи.

– Так покрадут все. Ты ж не глядишь.

– Да ладно тебе. Авось не покрадут.

Степан уходит. Люша наблюдает за малолетними акробатами. На лице у нее странное выражение – то ли удовольствие, то ли боль. Когда номер заканчивается, молодая женщина бросает в вытертый цилиндр с обмахившимися полями несколько монет и негромко спрашивает у старика-шарманщика:

– Это твои дети, внуки?

– Не, прибудыши, – безразлично отвечает старик. Его лицо, с выступами, впадинами и причудливо ветвящимися морщинами похоже на муляж из географического кабинета. На правом глазу – уродливое фиолетовое бельмо.

– Будете в дороге вблизи имения Синие Ключи, зайдите непременно. Приветим и тебя и твоих прибудышей. Запомнил? – Синие Ключи. Деревни рядом – Черемошня и Торбеевка. От Калуги на юг, по Киевской дороге.

– Благодарствуйте, барыня, – старик несколько раз кивнул и впустую пожевал синими губами. – Как раз заглянем.

Мальчик и девочка в четыре руки сворачивают коврик и с живым любопытством смотрят на хорошо одетую барыню, ловят ее взгляд. Она же, только что внимательно наблюдавшая за каждым их движением, теперь как будто не замечает маленьких акробатов.

Словно позабыв о собственном наказе, легко вскинув на руку тяжелую корзину, Люша сама отправилась искать Степку. Заглянула в сенной угол, где вдоль дощатой стены были привязаны выставленные на продажу лошади, потом долго бродила вдоль скобяного ряда, и наконец с немалым изумлением разглядела Степана у стола, где торговали лубочными картинками с самыми разнообразными сюжетами – от вечного пруда с лебедями до событий давно минувшей японской войны. Самым удивительным было то, что Степка, прежде ко всякому искусству решительно и глубоко равнодушный, не просто глазел на яркие глупые картинки, но и – покупал!

Люша застала как раз тот момент, когда Степан развязывал поясной кошель и доставал деньги. Продавец – низенький и лысоватый, радостно улыбался, держал в руках отобранную Степкой картинку в дешевой рамке и наотлет, напоказ любовался ею, прищуривая то один, то другой глаз, как настоящий ценитель искусства.

На картинке, выбранной Степкой, прекрасная королева с медовыми, распущенными почти до полу волосами, посвящала в рыцари коленопреклоненного мужчину, широкими сгорбленными плечами и упрямым затылком напоминающего самого Степана. Лицо у королевы было отрешенное и какое-то слеповатое. Видимо, так автор рыночного шедевра пытался передать аристократизм важной дамы. Меч на плече у рыцаря бликовал, как хорошо начищенный банный таз.

Заметив Люшу, Степка мучительно, пятнисто покраснел, спрятал руки с кошельком куда-то вбок, под рубаху. Потом опомнился, упрямо выпятил подбородок и отсчитал деньги в подставленную ладонь продавца, взял картинку, завернул в тряпицу.

Люша тяжело вздохнула, потеряла висок пальцами свободной руки.

– И чего? – с вызовом спросил Степан.

– Да ничего, – Люша пожала плечами. – Хозяин-барин. А только лучше б ты ее саму попросил... Знаешь ведь, что она изрядно рисует, с этим-то никак не сравнить. Хоть бы и на тот же сюжет...

– С ума ты, что ли прыгнула, Люшка! – пустив от волнения петуха, вскричал Степан и тут же поправился, оглянувшись. – Простите, Любовь Николаевна... Да только как же я решиться могу... такое предложить...

– А не можешь, и ладно, – равнодушно согласилась женщина. – Твоя воля. Повесишь это на стену в избе, будешь любоваться. Корзину лучше у меня заberi... И вот еще что, к слову. Как Ботька Камишу напугал, знаешь? И чего дальше было?

– Убил бы паршивца... – сквозь зубы прошипел Степан.

– Убивать не надо. Вспомни, как сам мальчишкой ящерицам не только хвосты, но и лапы отрывал и глядел – вырастут или нет. А птиц сколько сгубил?.. Но ты поговори с ним. Отца у них нет, так что ж – кто-то должен. Припугнуть можешь слегка. Чтоб он к Камише со своим естествоиспытательством и близко не подползал. Понял?

– Понял. Сделаю, – кивнул Степан.

– Хорошо.

Помолчали. Рынок гудел сотней голосов одновременно, ритмично и завораживающе.

– Люшка, скажи, – с отчаянием в голосе вымолвил Степан. – Может мне бежать отсюда давно надо, а? Ноги уносить? Как можно дальше. В Сибирь, а? Любовь Николаевна, ну ответь ты мне хоть раз напрямки! Я ведь из-за тебя тогда в Синих Ключах остался! Не будь твоего слова, ушел бы плотогоном, или к своим, в Первопрестольную...

– От себя бежать и самого себя бояться проку нет, – подумав, сказала Люша. – Я пробовала, потому знаю. Каждый день свое хотение ломать, наизнанку выворачивать и душу в кармане носить не сахар, но и гордыню тоже тешит. Оно же не только больно выходит, но и сладко и пьянит, как вина стакан, так? – Степан, потупившись, молча кивнул. – Что ж, покуда терпежу хватает, пей свое вино. А как не хватит, беги – я нынче тебя держать не стану...

* * *

Глава 4,

в которой читатель вместе с героями посещает Венецию и Константинополь, а также повествуется о вреде домашнего воспитания и превратностях любви.

– Радость и полнота жизни ощущается прямо в воздухе. Весь город поет – поют гондолеры, рыбаки, торговцы, домохозяйки, поют дети, бегущие в школу. Полгода – представьте! – с первого воскресенья октября длится карнавал. Весь город – один большой театр, каждый балкон над каналом – ложа. Помимо этого, почти в каждом дворце ставят свои спектакли. Восторг и опьянение праздника для всех – для богатых и бедных, простых и знатных, жителей города и его гостей. Все люди – актеры на сцене и продавцы и покупатели на ярмарке жизни... Ах, бамбини, запомните: на свете нет ничего краше Венеции...

Анна Львовна Таккер мечтательно сощурилась и рассеянно погладила жидковатые Атины кудряшки. Девочка слушала внимательно, глядя куда-то внутрь себя. Ботя, не слишком интересовавшийся балами и карнавалами, глядел на Анну Львовну, слегка расфокусировав зеленоватые, широко расставленные глаза. Так в музее посетители смотрят на прекрасную античную вазу. Риччи, шестилетний сын Анны Львовны, наклонился к Ботиному уху и заговорщицки прошептал: «Опять мамочка начала про свою Венецию. Это надолго, я знаю. Давай ей Атю оставим, а сами удерем и ты мне живых щеночков в конюшне покажешь. Обещал ведь...»

– Нехорошо так...

– Хорошо, хорошо, ты не сомневайся, – утвердил Риччи и осторожно потянул к себе Ботину широкую ладошку. – Мы быстренько сбегает и вернемся.

* * *

Смуглая тонкая рука с почти невероятным, вычурным изгибом в локте, очень длинный породистый нос с чуть заметной синевой на хрящеватом кончике. Причудливые тени на стенах, обитых синим же, с ромашковым рисунком штофом. Чтобы дети не мешали взрослым, четырнадцатилетняя Луиза Гвиечелли по просьбе Люши развлекает их, показывая им на белой простыне картины волшебного фонаря. Сзади толпится свободная в данную минуту прислуга и радуется и волнуется ничуть не меньше маленьких зрителей.

Волшебный фонарь и стеклышки в деревянных рамках к нему гости привезли с собой. Керосиновую лампу принесли в темную, без окон гардеробную из кухни. Оттуда же кучер притащил две длинные скамейки, на которых разместились зрители. Уже посмотрели сказки про Спящую Красавицу и про Мальчика-с-пальчик. В каждой по десять стеклышек, но – увы! – в первой сказке не хватает одного, главного, того, где принц целует Красавицу. Оно давно разбилось. Луиза, чувствуя ответственность, восполняет пробел своим рассказом:

– Тогда он, значит, корешки оборвал, паутину почистил, мошек там всяких разогнал, крышку гроба открыл, наклонился и ка-ак поцелует ее! И не думайте: не то чтобы клюнул слегка в щеку, как дамы здороваются. Не-ет! Он ее как следует поцеловал, в губы, изо всех своих принцевских сил. Так поцеловал, что у нее кровь-то вся по жилочкам и побежала. И открыла она глаза свои, и смотрит на него...

После сказок смотрели «смешные картинки». Хохотали до визга. Служанки утирали глаза краем передника. Если потянуть за рычажок в деревянной рамке, то городской гнался за мальчишкой, у толстого обжоры появлялась голова свиньи и самое потешное – с важного

господина, говорящего речь и похожего на председателя последней Думы, кудлатая собачонка сзади стягивала брюки.

Теперь настала очередь видовых картинок. Пруд зимой. Версаль. Площадь Святого Марка, вид Большого Канала в Венеции. Луиза все комментирует. Рассказывает про интриги, про знаменитую венецианскую писательницу-куртизанку Туллию д'Арагона, про шальное богатство Венецианской республики. Взрослых в комнате нет, слуги – не в счет. Все рассказы Луизы имеют отчетливый подтекст, горячо любимая ею Венеция – с пряным ароматом порока. Откуда это в четырнадцатилетней девочке, которая даже не посещает гимназию, получая домашнее образование – непонятно.

– Все через край, – восторженно говорит Луиза. Ее круглые глаза ярко блестят в полутьме, а нос, как флюгер, поворачивается из стороны в сторону. – В 15 веке в Венеции голод, потому что местные сельскохозяйственные продукты намного дороже, чем привозные. У мужчин нет работы. Женщины сами содержат семьи. На сто тысяч жителей одиннадцать тысяч проституток. Венецианки были законодательницами моды. Я сама видела старинные атласные туфли на платформе в полметра. Это можно понять, ведь отходы из окон выбрасывали прямо на улицы. Надо же было как-то среди них пробираться... Но строят прекрасные дворцы, и излишество все равно – во всем. В театре Фениче все свечи были длиной не меньше метра, а во дворце Лабио в доме держали большие золотые подносы, а также вилки и ножи из золота. После обеда прислуга напоказ перед гостями выбрасывала всю эту золотую посуду в окно, а под окном дворца, сами понимаете, находился Большой Канал. Но здесь имелась маленькая хитрость. В канале это золото ждали давно расставленные сети, в которое и попадало всё выброшенное добро. Затем тот же номер повторялся со следующими приглашенными...

– Ловко-то как! – умилилась горничная Настя и толкнула локтем свою приятельницу Феклушу. – И глянь, что выходит: богачи-то во все времена одинаковые были. Спесь пузырем, да пыль в глаза пустить – это им первое дело.

Любовь Николаевна с самого детства умела ходить бесшумно, а подслушивать под дверьми и окнами было едва ли не самым любимым ею делом.

Увлечшись показом и рассказом, никто не заметил, когда и как она просочилась в дверь и неподвижной тенью встала у стены, между висящих в полотняных мешках шуб. Слушала Луизу с кривой усмешкой, приподняв губку и неровно оскалив мелкие зубы.

Когда вынули последнее стеклышко, на стене образовался большой светлый круг. В углу натянутой простыни водяным знаком просвечивала выпуклая монограмма Осоргиных.

Ботя, всегда более чувствительный к присутствию своей спасительницы и опекуни, беспокойно завертел круглой головой.

– Люшика! – мальчик увидел первым, но сестра, как более быстрая, сразу вскочила со скамейки и опередила его.

– Люшика! – девочка быстро и привычно приласкалась, прижавшись к бедру молодой женщины, снизу заглянула в светлые, почти прозрачные глаза. – Люшика, покажи черта! Сейчас покажи, пока лампу не загасили!

Когда-то, в хитровской ночлежке, в каморке под нарами в доме Кулакова, из немногих доступных маленьким нищим развлечений это было, пожалуй, самым любимым, наряду со сказками деда Корнея. Люша тогда умела показывать целый театр теней и разыгрывать из них настоящие представления. И сейчас она послушно перелезла через скамью, сложила пальцы обеих рук и – страшная рогатая рожа появилась на белой простыне и раззявила пасть в беззвучном крике. Дети с готовностью завизжали – радостно и испуганно одновременно.

– Настя, приberi тут все, – распорядилась Любовь Николаевна. – Скамейки Егор на место отнесет. Дети, идите молоко пить, умываться и спать. Лиза, проследи, чтоб никто ни от чего не увернулся. Феклуша, станешь наших укладывать, не забудь, чтобы Ботя обязательно перед сном на горшок сходил. А то сказки сказками, а постель потом снова менять придется. Риччи,

Роза, вас мама искала, она в белой гостиной с Камишей на рояле упражняется, я вас сейчас туда провожу, а потом быстренько – тоже на ужин.

* * *

Горничная Настя стояла за креслом и размеренно расчесывала Анну Львовну щеткой с серебряной ручкой. Волосы лились, как мед с ложки. Шелковый, бледно-розовый капот стекал ниже, к точеным лодыжкам, к изящным маленьким ступням, обутым в атласные шлепанцы. Обе женщины явно получали удовольствие от процесса.

Пришла Любовь Николаевна и все испортила.

– Энни, вы там, семья, что вообще думаете про Лизу? – решительно спросила она и совершенно крестьянским жестом поддернула рукава платья, как будто готовясь к немедленному действию.

– Э-э-э... – сказала Анна Львовна, осторожно отстранив руку Насти и собираясь с мыслями. Она считала себя неглупым человеком и прекрасно отдавала себе отчет: родственница слишком экзотична, чтобы ее было легко понять. – А ты, Любочка, собственно, что имеешь в виду?

– У нее в голове такая каша варится, что, когда горячим паром рванет, поздно будет охать и ахать. Надо ее как-то в мир выпустить. И немедленно.

– Но ты же сама знаешь, Любочка, что наш папочка – сторонник домашнего образования для женщин. А Луиза такая впечатлительная, такая импульсивная... К ней приходят учителя, она ездит на уроки танцев и рисования, и нам кажется, что ее знания вполне соответствуют ее возрасту. Ты считаешь иначе?.. К тому же нельзя забывать, что она наперсница бедной Камиши, скрашивает ей часы болезни, и, согласись, было бы жестоко лишить сейчас Камиллу этого утешения, в последние, быть может...

– Ах, Энни, оставь, право, надоело! – Любовь Николаевна махнула рукой, словно отгоняя назойливых мошек. – Третий год слышу эти причитания про последние дни бедной Камиши. Нечего ее хоронить прежде времени. Помрет, когда помрет, а нынче жива покуда, из того и будем исходить. И Лизину жизнь на алтарь Камишиного умирания я принести не позволю ни в каком разе. Сама поговорю о том с Львом Петровичем. Надо Камилле наперсницу – чем же ты хуже Луизы? Все одно дома целыми днями сидишь, с детьми да левретками... (Анна Львовна едва заметно поморщилась, но Любовь Николаевна не обратила на это внимания). А если тебе недосуг, так оставьте Камишу у меня. Она любит Синие Ключи, физически чувствует себя здесь бодрее, чем в Москве, Петербурге или даже Италии вашей. Условия и лечение я уж как-нибудь ей обеспечу. И развлечения тоже – вон хоть Степана приставлю, дом-то уж отстроили почти, дел у него нынче немного...

– Да, Люба, кстати! Именно касательно этого Степана, – Анна Львовна энергично вскинулась в кресле. Настя сделала шаг назад, ушла в тень, откуда внимательно прислушивалась к разговору. – Я... мы все просили бы тебя обратить внимание... отношение этого крестьянина к Камише... Она, разумеется, слаба и совершенно наивна, но когда он повсюду носит ее на руках...

– Степка от нее обмирает, – не колеблясь, сформулировала Люша. – Но что ж с того? Он сдохнет скорее, чем обидит ее чем.

– Любочка, я, право, не знаю, как тебе объяснить... – Анна Львовна заколебалась. Некоторые, совершенно очевидные для светского человека вещи до воспитанницы московских трущоб по-видимому просто не доходили. – Их дружба решительно невозможна!

– Но почему же, если их обоих устраивает? – удивилась Люша. – Я сама со Степкой с детства дружилась, и на закорках он меня везде таскал.

– Ваша детская дружба – это совершенно другое дело. Вы оба были детьми, Степан был слугой твоего отца, все происходило в доме, где ты родилась и росла...

– Да ладно, Энни, ты права, они не дети, а потому не нам и решать за них. Они, небось, сами разберут, как им лучше. Я вот про Лизу еще скажу – ты посмотри там, чего она вообще читает, и во что играет с детьми. Хотя бы и с твоими. И лучше бы ты тоже отцу, как и я, сказала – в школу ей надо, с подружками своего возраста общаться, ссориться, мириться, сплетничать, все такое... Подумай о ней, Энни...

Любовь Николаевна на мгновение остановила взгляд своих почти бесцветных глаз на Насте, и ушла, ступая неровно и почти бесшумно, так, как ходила в Синих Ключах только она одна. Все слуги легко узнавали на слух ее походку – по отсутствию в ней обычного для человека ритма. Люша как будто нарочно избегала ритмичности шага, сбивая с толку погоню, и никто не мог понять: кому же адресована эта подсознательная маскировка? Кто вечно идет по ее следу?

Настя осторожно сняла со щетки несколько запутавшихся в зубьях золотистых волосков и снова вернулась к своему успокаивающему обеих женщин занятию, прерванному приходом Любови Николаевны.

– А что, Настя, этот Степан... Он женат? – спустя какое-то время спросила у горничной Анна Львовна.

– Холостой он, – ответила Настя. – Парень-то собою видный, водки почти не пьет, и у Любови Николаевны в милости, так не одна уже девка ему намеки делала...

– И что ж? – Анна Львовна закивала, поощряя горничную к продолжению рассказа. – Ни на кого не взглянул?

– Почему ж не взглянул? – усмехнулась Настя. – Когда у мужика жеребец в самой силе, подолы у девок память каждый не дурак. А только вы ж спрашивали насчет жениться... Этого вот и в заводе нету.

– Барыня Любовь Николаевна у вас решительная женщина, – то ли с одобрением, то ли с осуждением заметила Анна Львовна. – Вот и женила бы, что ли, своего... друга детства, чтобы попусту... подолы не мял...

– А зачем ей? – удивилась Настя. – Какой ей с его женитьбы прок? Любовь Николаевна ведь только то делает, что к ее выгоде идет.

Горничная опустила руку со щеткой, прижмурилась и даже слегка присела позади кресла, не гася тонкой улыбки и готовая извиняться за дерзость.

– Вот как?

Извинений вроде бы не потребовалось.

– Именно так, барыня. С детства так повелось, еще до всех бед. Если все по ее желанию, так и она тебе расстарается – тут и слово ласковое, и пряник медовый. Но уж если что поперек и она уперлась – тогда все бегите и прячьтесь, все выюгой снесет, а своего добьется.

– Так ведь это раньше было, Настя, когда Любочка была ребенком и нездорова, – возразила Анна Львовна. – Нам Юрий Данилович рассказывал, да и она сама говорила, что у нее бывали такие приступы ярости, когда она все крушила. Это же давно прошло, она теперь другая совсем...

– Совсем да не совсем, – загадочно улыбнулась Настя.

– Что ты имеешь в виду?

– Одно-то уж во всяком случае без перемены осталось: рядом с ней только по ее и можно делать. Мы-то ладно, слугами зовемся, стало быть, услужать привыкли. А вот отчего, вы думаете, супруг ее, Александр Васильевич, уехал?

– Для завершения своего образования, – ответила Энни и терпеливо пояснила. – Он ученый, историк, работает с тем, что прежде было. Стало быть, ему обязательно надо побывать в тех местах, где происходило то, что он изучает. Поняла?

– Это она вам сказала? Любовь Николаевна?

– Ну конечно.

– Через вторые руки получается. А у меня-то – от него самого. Уезжаю, сказал, Настя, потому что рядом с ней не могу быть самим собой. Вот такая, барыня, выходит история.

– Не могу быть самим собой? – растерянно повторила Анна Львовна. – Это что же значит?

– А то и значит, что Любовь Николаевна только тех рядом с собой и терпит, кто своего слова не скажет и дела не сделает. Вот хоть того же Степана взять или глухую Груньку. И гляньте: Камилла Аркадьевна ваша – ангел божий, но тоже ведь ей в рот смотрит, и никогда ни в чем поперек не пойдет...

– Странно, странно, – пробормотала Энни. – А что же, по-твоему, случается с теми, кто Любочке все-таки перечит? Она их выгоняет от себя?

– Замораживает она их, вот что, – ответила Настя, глядя куда-то внутрь себя. – Ни жизни, ни радости, ни любви им не остается. Сказку нашу здешнюю про Синеглазку слышали?

– Слышала что-то, – уже совершенно обескураженная, Анна Львовна попыталась обернуться и взглянуть на горничную. Щетка запуталась в волосах и увидеть лица женщины ей не удалось. Настин голос прозвучал словно откуда-то издалека.

– Так вот, чтоб вы знали, барыня, на который-нибудь случай... Обороны вас и ваших деток Бог, конечно... А только она, Любовь Николаевна, та самая Синеглазка и есть...

* * *

Небо, с утра роскошно-синее, к полудню сделалось белесым. Дома, извивы и росчерки улиц, купола и минареты, сухая трава и оливковые рощи – в знойной дымке все размылось и слилось в одно целое. Хотелось уж вовсе перестать различать отдельные предметы, в которых не было ровно никакой надобности. Если бы не резко сверкающая бухта, прочерченная частоколом мачт и длинными темными силуэтами кораблей, это было бы совсем просто сделать.

Так было сегодня, и третьего дня, и год назад. Так же будет и завтра. И всегда.

Александр Васильевич Кантакузин – худой, бронзово-смуглый мужчина с хмурым горбоносим лицом и коротко стриженными темными волосами – полагал, что такое положение вещей его наилучшим образом устраивает. Он прожил в Константинополе как раз год, уехав сюда почти сразу после рождения дочери. Все это время он убеждал и почти убедил себя в том, что теперь и его злосчастная женитьба, и беспорядочное полубогемное существование до нее, и так удачно начатая, но в итоге несостоявшаяся деятельность прогрессивного помещика – все благополучно убралось в прошлое. В настоящем же был медовый зной Константинополя, пронзительный крик ястреба над раскопом и понемногу толстеющая папка с диссертацией, шелковые тесемки которой было так приятно развязывать, вкладывая туда очередной исписанный листок.

По вечерам, когда над морем растекались безмятежные переливы заката и цикады, не жалея ничьих ушей, пускались во все тяжкие, он шел домой – то есть, в дом гречанки Элени Кодзакис, у которой снимал комнату. Элени, вопреки общему представлению о быстро вянущих южанках, в свои тридцать лет была вполне хороша, хоть и успела родить троих детей, а после и овдоветь. Мужа ее убили турки несколько лет назад. Как объяснила полиция – в драке, которую он же и спровоцировал... Что ж, надо признать, что греком в Османской империи быть почти так же неудобно, как армянином.

Иногда его посещала мысль: а не жениться ли ему на Элени, натурализоваться... нет, не здесь, естественно, а где-нибудь в Италии, где можно спокойно заниматься наукой и жить на жалованье. Окончательно забыть прошлую жизнь...

Впрочем, мысли о радикальной перемене судьбы, возникнув невзначай, невзначай же и исчезали, таяли, как облачко в разгар знойного дня.

Все и так шло неплохо.

– Недолго нам еще греться на троянском солнышке, – бодро заявил господин солидной купеческой наружности, кряжистый и густобородый – Скоро попросят вон. Видали, как турки на улицах косятся?

Этот господин, приват-доцент из Петербурга, приехал в Константинополь еще зимой – на месяц, за материалами для статьи по античной археологии, да так здесь и застрял, каким-то способом уладив дела с начальством.

– Вас не попросят, – сказал Кантакузин. – Нынче османы позиционируют себя европейским народом. Античное наследие в цене – стало быть, и вы полезны. Доцент захохотал, прерывая его самым беспардонным образом:

– У меня на лице, что ли, нарисована античная древность? Или, думаете, обкуренному грузчику из Каракёя на эту самую древность не наплевать? Нет, дорогой мой, еще пара лет, и здесь все взорвется. Османская империя – разлагающийся труп. Как, впрочем, и...

Он поморщился и, осекшись, бросил взгляд на рабочего, неторопливо катящего тачку к оврагу под изгрызенной временем монастырской стеной.

На жаре никому не работалось. Трое наемных турок, утром еще имитировавшие хоть какую-то деятельность, после полудня улеглись спать прямо на земле, в тени базилики. Остальные слонялись туда-суда по дорожкам, чьи разбитые плиты, затянутые сухой ползучей травой, помнили стопы св. Федора Студита...

– ...посему следует сделать как можно больше за оставшееся время! – приват-доцент рубанул воздух ладонью, перезревшие ягоды посыпались с куста. – А мы чем заняты? Я третью неделю не могу добиться разрешения на раскопку этого несчастного кладбища! А между тем уже сентябрь! И что... Эй, милостивый государь! – он внезапно поменял тон, сделавшись сурово-официальным. – Что вы изволите здесь искать? Ступайте, ступайте, любопытствующим здесь не место.

Кантакузин обернулся – единственно ради того, чтобы не видеть важного приват-доцента. Показавшийся вдалеке на дорожке человек напомнил Александру охотника на львов с картинки в журнале «Нива»... понять бы еще, почему. Загаром, наверно – какой-то у этого загара был не средиземноморский оттенок. И движениями, одновременно порхающими и точными. Впрочем, движений на картинке не увидишь – и уж их-то он узнал мгновенно, куда раньше, чем разглядел лицо.

– Отчего же не место? – благожелательно поинтересовался, подойдя, «охотник на львов». И слегка поклонился, приподняв панаму. Светлые волосы его, еще год назад длинные и вьющиеся, сейчас представляли собой короткий ежик. Исчезла и куцая борода, сменившись едва заметной небритостью.

– Оттого, что здесь люди работают, а не озирают-с... – приват-доцент поглядел на пришельца, потом – на Кантакузина... и внезапно резко сбавил тон: – Прошу покорно простить, не понял, что вы к нам в гости. Все жара! Сил нет от этой жары!

Он продолжал что-то говорить, удачно заполняя молчание, которое неизбежно бы возникло, пока Александр собирался с духом, поднимался со стула и подыскивал слова для приветствия. Максимилиан Лиховцев, кузен и старинный друг, alter ego – как они оба самодовольно обозначали еще пару-тройку лет назад, – вовсе не собирался ему помогать и, неопределенно улыбнувшись, неторопливо направился к развалинам. Александр уныло поплелся следом.

Следующие три часа Кантакузин терпеливо исполнял роль гида. Макс обращался к нему каждый раз, когда хотел что-то уточнить, совершенно уверенный в том, что гид – рядом и тут же ответит.

Потом молчание все-таки наступило. Опасная, неприятнейшая пауза. Кантакузин поспешил ее заполнить:

– Давно ли, кстати, ты из России? Как там?

Лиховцев улыбнулся. Не обычной своей, летяще-рассеянной улыбкой, а какой-то такой... излишне понимающей. Хотя, в самом-то деле, что он может понимать? Даже если Люша что-то ему и говорила...

Говорила или нет?

Александр отогнал этот некстати вывернувшийся вопрос. Задавать его, даже самому себе, не хотелось. Смертельно! Вот зачем этот тип, скажите на милость, приехал? Только что было так тихо, жарко и сонно... приват-доцент вещал что-то на грани сознания... И вдруг – будто черт из коробочки! Те же и Макс.

Он только сейчас осознал, что этот свалившийся ему на голову Макс вполне способен разрушить его здешнее безмятежное существование. Вернее – уже начал разрушать. Одним своим видом, одним легким движением мизинца!

Следовало разозлиться. Он и разозлился, хотя полагал, что не способен на сильные чувства. И еще почему-то обрадовался.

Зной загустел и осыпался, оставшись блестеть на крышах и верхушках кипарисов темным золотом заката. С востока приближалась ночь. Море на горизонте было уже совсем темным и тоскливым. Во дворе тоже стало сумрачно и как-то неуютно. Тень от столбика, поддерживающего навес над террасой, дотянулась до ограды, а следующая за ней тень самой террасы накрыла кусты и колодец, и пустую собачью будку, превратив их в маленькое подобие византийских руин. Вид Элени, вышедшей с ужином, очень соответствовал интерьеру – безмолвная и кроткая, как монашка, подала и удалилась, не позволив себе даже взглянуть на гостя. Гость, впрочем, ее отлично разглядел:

– Что за красавица, – выдохнул восхищенно. – Теперь я понимаю, почему ты не живешь в Галате.

– Зачем мне Галата?

– Ну, там, по крайней мере, есть европейские удобства. Но здесь, бесспорно, романтичнее.

– Здесь до службы ближе, – Александр поморщился. – В Турции, знаешь ли, на извозчике не наездишься.

– Тоже верно... Ну, что ж... Ты хотел от меня услышать о России... О России в целом или о наших родственниках? Или... – Лиховцев все-таки запнулся, случайно или намеренно, не понять, – о Синих Ключах?

– О Синих Ключах, – бестрепетно повторил Александр его последние слова. – Россия в целом мне абсолютно не интересна.

Он смотрел не на Макса, а на толстого мотылька, кружащего вокруг лампы. Лампа была подвешена высоко к балке навеса, а над ней уже сгустилась настоящая ночная тьма.

– Ты, может быть, усомнишься, интересны ли мне Синие Ключи. Отвечу сразу: интересны. Все-таки там моя дочь. Так что рассказывай.

– Да, там твоя дочь, – Лиховцев снова запнулся, кажется, ему слегка поднадоело играть в доброго приятеля. – Говорят, она похожа на тетушку Николая Петровича по материнской линии. В отцовской заботе покамест не нуждается. И вообще, нянек вокруг нее больше чем достаточно. Семейство Гвиечелли переселилось в Синие Ключи, кажется, в полном составе. Не удивлюсь, если они проведут там и зиму: надо ведь давать снежный бал, а как без них... Да, балы даются строго по расписанию. Я, кстати, тороплюсь в Россию, чтобы успеть на осенний. Хочешь, поедem со мной. Будет весело и...

Максимилиан замолчал на полуслове и уставился на Кантакузина невидящим взглядом.

Что за чепуху он несет!

Незадолго перед свадьбой Люша рассказала ему, как Александр обещал вывести их с няней во время пожара, а потом не пришел, и дверь оказалась снаружи запертой на задвижку... Тогда он стоял перед ней на коленях и умолял отказаться от этого дикого замужества. Она смеялась над ним и жаждала мести...

Теперь месть свершилась? И как вообще все это расценить?

– Я приехал, потому что больше не могу с этим жить. Что скажешь ты?

Лиховцев остановился в дальнем углу террасы, куда не доходил свет лампы, но при последних словах шагнул вперед, и Александр снова увидел его лицо, застывшее от злости.

Он и сам застыл от злости. От невыносимой, захлестнувшей его хуже всякого пожара злости на эту женщину – жену, вы только подумайте! – от которой оказалось решительно невозможно никуда скрыться.

– Я не буду отчитываться перед тобой.

Он сказал это спокойно, как будто обращался не к Максимилиану, а к толстому мотыльку, продолжавшему тяжеловесный танец вокруг лампы.

В лице Макса что-то погасло – или просто показалось, густеющие сумерки создавали прекрасный мелодраматический эффект.

Александр поднялся и подошел к ступенькам, ведущим во двор. Подальше от Лиховцева. Во дворе трещали цикады и пахло ночными цветами. В России эти цветы назывались душистый табак, а здесь... Да не все ли равно, как они здесь называются.

* * *

Перезревшее лето выплескивалось через край августа, как жгучее виноградное сусло. То ли от его шального хмеля, то ли согласно универсальным законам исторического развития – жизнь в Константинополе становилась все рискованней. Через неделю после отъезда Максимилиана Лиховцева, в квартале, где стоял дом Элени, случился погром. Самый что ни на есть натуральный, точно как где-нибудь в Жмеринке, только объектом его были не евреи, а греки. Семейству Кодзакис повезло – у Александра в гостях как раз сидел приват-доцент, который выскочил на крыльцо и заревел так грозно, выставив вперед брюхо и лохматую бороду, что пьяные, вопреки запрету Корана, турки приняли его за большого эфенди и, пятась и кланяясь, убрались со двора.

Жизнь снова потекла спокойно.

Глава 5, в которой в основном обсуждают всякие естественнонаучные вещи, например, понос, классовую борьбу и грядущую судьбу России. Но есть в ней и загадка – цыганка, которую видят «пифагорейцы» после окончания лекции Максимилиана Лиховцева.

Хотела поцеловать формально, спящих, но Ботя, уже в канифасовой полосатой пижамке, похожий на толстенького жучка, вскочил в кровати, обнял подошедшую Люшу за шею и довольно засопел, обдавая запахом кипяченого, чуть пригоревшего молока.

– Довольно, довольно, с Марыськой лизаться будете, она это обожает, – Люша слегка отстранилась, похлопала мальчика по теплой широкой спинке и привычно проверила ладонью штанишки – не мокрые ли. – На горшок не забыл? То-то же!

– Марципанку принесла? – спросила более практичная Атя. – Ты обещала...

– Атька, ну сколько можно жрать? – удивилась Люша, доставая конфету из кармана широкого драдедамового платья с пятном на подоле (не исключено, что его носила еще первая жена Люшиного отца), в которое она с удовольствием переделалась из бального наряда. – И куда только оно из тебя девается – ведь впрок-то явно не идет?

– А оно все с дристуном выходит, – высказал естественнонаучную догадку Ботя. – Ты ж знаешь, Люшика, у Атьки вечно понос... А может еще глисты все съедают – они от свиней заводятся и от собак, мне Аркадий Андреевич объяснил. А Атька и с поросятами и со щенками вечно целуется...

– Тьфу на тебя с твоими глистами! – шикнула Любовь Николаевна. – Вот гадость-то! Как приснятся еще...

– Отчего же гадость? – удивился Ботя. – Очень интересно. Мне Аркадий Андреевич обещал их в Москве в банках показать. У него много есть, в музее. А вот поглядеть бы, как они живую у Атьки в кишках живут...

Любовь Николаевна, с детства обладавшая живым воображением, поднесла руку ко рту и судорожно сглотнула. Естественнонаучные увлечения приемыша совершенно не находили отклика в ее душе. Зато Арабажину очень нравится беседовать с Ботей и ходить с ним к пруду, в поле и по парку. А когда Люша позвала Аркадия Андреевича на верховую прогулку, он сказал, что плохо ездит верхом, с детства боится лошадей, к тому же скоро пойдет дождь, и еще он обещал именно сейчас вскрыть нарыв на пальце у крестьянской девушки из Черемошни. Явный избыток причин – подумала Любовь Николаевна. Хотела обидеться или разозлиться, но не успела – отвлекли какие-то дела. Хотя и польза от Арабажина, когда он гостит в усадьбе, надо признаться, есть и немалая – лечит всех подряд прямо в помещении конторы и куда лучше земского фельдшера, и за Камишу спокойнее, когда он рядом. Да еще и с Ботей занимается тем, что тому нравится, и за что мальчишку обычно все ругают...

Вот и нынче: Атина марципанка – награда за блестяще исполненный бальный номер. Номер состоит в следующем. Какая-нибудь важная немолодая дама, искусно наведенная Марысей или самой Люшей на мысль, спрашивает у близнецов: А чем же вы, деточки, займетесь, когда вырастаете? Кем будете?

– Я буду интриганкой, – спокойно отвечает Атя, верная слушательница Луизы Гвиелли. – Я бы еще хотела рыбаком стать, или индейцем, но интриганка – это для женщины самое лучшее.

– А я буду зимой естествоиспытателем, – серьезно говорит Ботя, дождавшись своей очереди. – А летом – с холерными эпидемиями бороться.

Полный восторг гостей, хохот, аплодисменты, полный рот сладостей у Ати.

Любовь Николаевна тоже довольна. Близнецы, которых с младенчества таскали на паперть и всячески демонстрировали людям, привыкли быть в центре внимания и как-то работать в толпе. И пусть уж лучше так, чем в гардеробной по карманам шарить или у гостей на балу милостыню просить...

– Люшика, – Ботя дернул Любовь Николаевну за рукав. – Скажи мне: отчего Энни крабиков не видит?

– Каких еще крабиков? Где? – удивилась Любовь Николаевна. – И почему она должна их видеть?

– В Италии. Они обе там жили. Камиша видела, как крабики обедают, а Энни – нет. Я у нее спрашивал.

Любовь Николаевна немало утомилась бальным днем и больше не чувствовала в себе желания рассуждать о крабиках, червях и прочих ползающих тварях. Разве Арабажина позвать? Так ведь он опять отговорится – скажет, что уже спит и к тому же готовится к немедленной операции. Нагородит что угодно, лишь бы не остаться с ней наедине... А многие прочие, кстати, только об этом и мечтают... Что он вообще делает, когда не работает в больнице и не спит? Читает? Занимается партийными делами? Потрошит для собственного удовольствия глистов?

Неожиданно Ботю поддержала сестра, никогда прежде крабиками не интересовавшаяся.

– Да, Люшика, почему так? Энни, Луиза и Камиша все рассказывают про свою Венецию, но кажется, будто они в разных городах жили.

– В чем же по-твоему разница? – заинтересовалась Любовь Николаевна.

– У Луизы Венеция на нашу Москву похожа, где мы жили. Камни, вода, мусор, а между ними люди живут – ссорятся, мирятся, торгуют, любят друг друга или ненавидят. У Энни – как на картинках в книжках: все время вечер, все королевы, все в красивых платьях, свечи горят, отражаются в воде, и музыка играет. А у Камиши – как в сказках у деда Корнея, травка морская тихо растет, ласточки летают, и люди со зверями и рыбами говорить могут.

По сравнению с вдумчивым Ботей его сестра часто казалась Любовью Николаевне пустовой. Сейчас она готова была признать свою ошибку.

– Люди по-разному видят, это ваша правда, – сказала она. – Камиша больна...

– Она тогда еще здоровая была, – возразил Ботя.

– Ладно. У них просто разный масштаб и способ, которым они смотрят на мир. Мир Энни – это балы, приемы. Она видит всю картину в целом, рисует ее словами, как художник кистью. Камиша всегда умела видеть детали бытия. Она и здесь, в Синих Ключах, сидит и пять часов смотрит, как ласточка гнездо вьет. Она неподвижна, замечает подробности, мир при ней живет своей жизнью. А Энни обязательно нужно в него вмешаться, что-то улучшить, дописать картину... А Луиза просто вынуждена создавать мир силой своей фантазии, и очень странно, что именно он кажется тебе, Атя, наиболее похожим на настоящий.

Атя, как птичка, наклонила голову, обдумывая услышанное.

– Значит, Камиша – наблюдатель, – резюмировал склонный к систематизации Ботя. – Энни – действователь. Луиза – фантазерка. А ты, Люшика, кто?

– Я? – Любовь Николаевна задумалась, потом улыбнулась лукаво. – А я – не пришей кобыле хвост: ни то, ни другое, ни третье... И все – хватит беседы вести, спать давайте, а то завтра все проспите...

Спускаясь со свечой по лестнице из комнаты детей, Любовь Николаевна словно наяву видела три разных Венеции, представленных в ряд на сценах маленьких игрушечных театриков. Когда-то, в детстве, у нее их было несколько штук, и она очень любила с ними возиться,

с удовольствием разыгрывая сцены из жизни крошечных картонных актеров. Во время пожара все театрики сгорели вместе с башней, и тогда их потеря была совсем неощутимой в ряду прочих, гораздо более страшных...

Рассказ Ати порадовал, а последний вопрос Боти встревожил молодую женщину. Кто она? Какая из этих сцен пригодна для ее жизни? Почему, вопреки всем обстоятельствам, она никак не может определиться с пьесой, и все переставляет туда-сюда декорации на сцене?

* * *

– Сегодня читает Лиховцев, мне не хотелось пропустить, я пришел фактически с инфлюэнцей... На улице такой мороз, доктор запретил мне дышать через рот, а когда дышишь носом, кажется, что на носу вырастут сосульки...

– Сидели бы дома... – проворчал широколицый молодой человек в пюсовой рабочей блузе и отодвинулся подальше от действительно обильно сопливающегося господина, обмотанного поверх чуйки полосатым шарфом.

В просторном, почти квадратном зале коммерческого училища собралось довольно много народу. Решительное преимущество имели девицы разных сословий, но встречались и гимназисты, и студенты, и люди зрелого возраста. Поверх голосов слышались шарканье ног, сдерживаемый кашель и скрип стульев. С мороза оттаивали меховые муфточки, дешевая шерсть, и оттого, должно быть, в воздухе, наряду с запахом дамских духов витал запах мокрой псины.

Докладчик стоял спиной к залу и глядел в окно. Там, в темноте, разрезаемой конусовидным, зеленовато-лиловым светом газового фонаря, кружились и блистали снежинки. Их блеск отражался в темно-синих глазах Максимилиана Лиховцева, придавая им тот же лиловый оттенок. Глаза – словно два замерзающих к утру прудика.

– Ты знаешь, мне кажется, что он путешествовал больше во внутренних, чем во внешних мирах, – чуть приглушив писклявый голос, важно сказала подруге одна из девиц.

– Именно, именно, – поддакнула подруга. – Он удивительный. И необыкновенно, необыкновенно пикантен.

Максимилиан Лиховцев развернулся, бросил на пол зажатую в кулаке пачечку листов с докладом, и начал говорить прямо от окна, опершись сзади руками о широкий подоконник. Его светлые волосы встали надо лбом, как наэлектризованные, образуя подобие нимба.

Голос у докладчика был звучный, несколько: «позвольте, это уже доклад или что...» заглушили шиканьем, девицы опустили на стулья, молодые люди отошли к стенам, а несколько гимназистов сели прямо на пол, высоко подняв острые кузнечиковые коленки.

Максимилиан оттолкнулся от подоконника и пошел к центру зала.

– ...Россия похожа на стихи. Долгое, завораживающе прекрасное стихотворение. Смена поясов, народов, ландшафтов. Все в световом и звуковом единстве. Бушующий красками закат, переходящий в мчащийся со скоростью лошади степной пожар, а потом – в пламя бессмысленных и беспощадных бунтов. Эфирный треск северных сияний перекликающийся с треском крымских цикад, песня жаворонка, крик журавлей, сливающийся с ложечным перестуком народного веселья и печальной заунывностью зимних среднерусских напевов и нескончаемых песен степных народов. Тот, кто чувствует себя гражданином этой страны, может писать сегодня только о этом. Частности не имеют смысла, оставим их салонному искусству прошлого. Стать паладинами – таков вызов времени. Вы спросите: почему так? Все очень просто: сегодня как никогда велики задействованные стихийные силы и как никогда велика опасность. Ибо те, кто природой или жизненными условиями лишен рецепторов для восприятия этого, переливающегося континентальным величием меланжевого единства, называемого Россией, тот может воспринять его как застой и захотеть немедленно его разрушить...

– О чем он говорит?

– Вы читали Маркса? – крикнул с места рабочий в плюсовой блузе.

– Читал. И в первую очередь я говорю о народе.

– Он монархист?

– Нет, он поэт, – гнусаво возразил господин в чуйке. – Хотя собственно стихов, кажется, не пишет.

И оглушительно высморкался.

Друзья Максимилиана из группы «пифагорейцев» сидели отдельно.

– Все-таки Макс хорош, – пробормотал густо напудренный Май (в миру купеческий сын Никон Иванович). – Светлая голова.

– Интересно, где он достал деньги на это путешествие? Побывать в Константинополе, в Палестине... – неизвестно у кого поинтересовался Апрель, поправляя небрежно наброшенную на плечи, украшенную нашитыми парчовыми звездами крылатку. – Насколько я знаю, его родители небогаты...

– Он нанялся поводырем к какому-то слепому раввину, – невозмутимо пояснила высокая женщина в полосатых штанах и с замысловатым фуляровым сооружением на голове. – Раввин из хорошей, богатой семьи, очень образованный. Макс его повсюду возил и все ему в красках рассказывал. Очень оригинально.

– Да уж... – пробормотал Апрель. – Описывать мир слепому путешествующему раввину – это очень похоже на нашего Максимилиана...

– Наш Максимилиан очень изменился, Жаннет, – сказал Май и соорудил печальную мину. – Он хочет издавать журнал.

– Своевременная идея, – согласился Апрель. – «Весы» и «Золотое руно» доживают – это очевидно. Нужны новые идеи, новые люди, новые принципы.

– Макс стал очень много курить, – сказала женщина и качнула своим диковинным головным убором. – Когда он приходит к нам, после его ухода везде натканы окурки. Я думаю, это любовная неудача, но не могу понять, где...

– Алекс Кантакузин спешно, и, кажется, несчастно женился и потом уехал за границу. Они с Максом нежно дружили с детства...

– Маюша, не меряй всех по себе, – возразила Жаннет. – Если у Макса несчастная любовь, то надо искать женщину... Ты, Апрель, знаешь его лучше и дольше нас, ты мог бы...

– Не мог бы. С ним надо говорить в четвертом измерении, а мне это не под силу. В трехмерном мире он как-то невменяем. Это всегда было, а теперь, после путешествия с раввином стало особенно заметно...

После лекции расходились группами, подняв плечи и сунув носы в воротники. Мороз щипал голые пальцы. Снег вкусно скрипел под ногами. Молодежь запальчиво говорила о важном – о грядущей революции, о миссии России, о слиянии религии с наукой. Было понятно, что все это предстоит совершить именно им. Ответственность заставляла быть серьезными. Девушки поднимали бровки, юноши играли скулами. Жаннет (ей уже исполнилось двадцать семь) зевала, прикрывая рот пуховой рукавичкой. Коротенький Май, подпрыгивая, то и дело поправлял шарф на шее часто простужающегося Апреля.

Мимо пронеслось несколько саней с цыганами. Звенели бубенцы, звонко и хрустко раскачивались пронзительные цыганские голоса. Артисты из загородных ресторанов вместе с особо стойкими гостями ехали догуливать в Грузины, поближе к дому.

Максимилиан остановился, глядя на кавалькаду бездумными прозрачными глазами.

– Сто-о-ой! – раскатился повелительный крик. Лошадка всхрапнула, сани заскрипели полозьями впереди, остановились прямо под фонарем.

Одна из цыганок встала в саних во весь рост. Поверх шубки ее укутывал платок, из-под платка выбивались черные, усыпанные снегом кудри. Невероятно длинные ресницы казались серебряными, заиндежевшими. А может быть, серебряными были светлые, нецыганские глаза...

– Поше-о-л! – сани снова сорвались с места и скрылись в сверкающем вихре взвившегося снега. Замерли вдали смех, пение, звон бубенцов и колокольчиков.

– Чего это было-то? – спросил Май, растирая перчаткой замерзшую щеку.

– Надо идти. Надо, Макс! – вразумительно сказал Апрель и попытался оторвать от фонарного столба словно приклеившегося к нему Лиховцева.

Три девушки из числа слушательниц доклада догнали пифагорейцев.

– Максимилиан, а что вы думаете по поводу этики всеединства? – спросила самая решительная из них, смело ступив в глубокий снег, наметенный вокруг фонаря. – И каково ее социальное будущее в эпоху классовой борьбы?

Лиховцев ничего не ответил, а Май осторожно вытолкал девушку обратно на расчищенную дворниками дорожку.

– Ну что, что он тебе сказал? – нетерпеливо приступили подружки.

– Он взглянул на меня пылающей лазурью! – тихо и гордо ответила вопрошавшая.

– Неужели цыганка? Вот номер-то... – разочарованно пробормотала Жаннет себе под нос.

* * *

«Стачка кончилась. Наши требования не исполнены. Но мы не побеждены. Да и нет силы, способной сокрушить силу сплоченности и сознательности пролетариата.

Прежде, чем бороться с фабрикантами, надо добиться политической свободы, при которой только и возможна успешная борьба рабочих с капиталистами-эксплуататорами.

На насилие можно отвечать только силой.

Вступайте же в ряды борющегося пролетариата под знаменем социал-демократии.

Вооружайтесь и учитесь обращаться с оружием, чтобы снова восстать в одно время со всем пролетариатом России и вступить в последний и решительный бой с царским правительством.

Долой самодержавие!» –

Дописав последнюю строчку, Аркадий Арабажин поставил свою подпись – «Январев» (такова была его партийная кличка), тщательно прочистил перо, чтобы не присохли чернила, и отложил ручку. Хотел было перечитать написанное, но, чуть поколебавшись, не стал этого делать. Усмехнулся, подумав о том, что пишет прокламации с той же совершенно снооровкой и привычкой, что и записи в историях болезни своих пациентов. Впрочем, ничего особенно удивительного в этом не было, так как оба дела – и партийное, и увлечение медициной, вошли в жизнь Аркадия практически одновременно – в старших классах гимназии.

Прокламации, как и оформление историй болезни, и, прежде, сочинения в школе удавались Арабажину безусловно. В письменной речи, особенно когда его никто не торопил с результатом, он чувствовал себя уверенно вполне, и даже, в отличие от большинства вечно куда-то спешащих молодых коллег, любил поздним вечером посидеть в больнице, в уютном круге света последней на всем лабораторном этаже лампы, над скупыми строчками диагнозов и результатов обследований. Не раз именно в эти тихие минуты, прямо на кончике пера (а вовсе не у постели больного) к нему приходило озарение: что конкретно происходит в организме этого пациента и какая схема лечения будет для него теперь оптимальна.

Действовать или писать – таковы были его дарования. Любые разговоры, особенно в минуты душевного волнения или перед большой группой людей, всегда давались Аркадию

тяжело. В гимназические годы ему было трудно выступать перед классом – даже хорошо известный ему материал он рассказывал тускло, скомканно, пропуская от волнения существенные детали. Аркадий прекрасно понимал, что и для практикующего врача и для революционера отсутствие у него ораторских талантов представляет собой существенный изъян, но ничего не мог с этим поделать. Ужасным и почти мистическим исключением были университетские события 1905 года – тогда Январев, будучи одним из руководителей Студенческой дружины, не разгадал вовремя провокацию искусного агента охранки, неожиданно блеснул красноречием и вывел почти сто человек к Думе, прямо под пули солдат и полиции. Одиннадцать человек погибло – и их смерть Аркадий упорно и обреченно считал ношей, навсегда легшей на его совесть. Почти омертвев от тяжести своей вины, он лично обходил семьи погибших товарищей, смотрел в глаза их близким, выслушивал упреки и проклятия. После, во время декабрьского восстания, буквально шел навстречу пулям, торопя смерть. Но у Фортуны явно были на его счет какие-то свои планы – случайная встреча на баррикадах с московским «гаврошем» Лешкой фактически спасла и изменила жизнь обоих. «Гаврош» превратился в знатную даму Любовь Николаевну Осоргину, а боевик Январев... Во что превратился за истекшие годы Январев? Кто бы ему это сказал наверное – теперь?

Здесь неизбежно наступил один из многочисленных моментов, когда Аркадий вспоминал Адама Кауфмана – своего единственного близкого друга.

Вот уж у кого никогда не было проблем с красноречием! Адам умел говорить с пациентами и их семьями так, что выздоровление первых как будто бы начиналось прямо в процессе беседы со вторыми. Не случайно Кауфман избрал своей специализацией именно психиатрию...

Не без колебаний определившись с научным и практическим жизненным путем, Адам уехал в столицу и вот уже два с лишним года жил в Петербурге. Себе Аркадий вполне мог признать: он все еще остро скучал по другу. В его жизни, вроде бы наполненной делами и событиями, до сих пор не хватало естественно присущих Адаму парадоксов мышления, неожиданных мнений по какому-то обыкновенному вопросу, споров (в которых Адам практически всегда побеждал), возможности безопасно делиться важным и даже неважным. Все и всегда (учителя в гимназии, преподаватели в университете, их общий научный руководитель Юрий Данилович Рождественский) сравнивали друзей не в пользу Арабажина и даже не особенно старались это скрыть – из них двоих Кауфман везде считался более ярким, талантливым, способным к открытию новых горизонтов в науке. Другую, даже самую искреннюю дружбу такое сравнение могло бы разрушить. Но Аркадий с детства был фактически лишен честолюбия, а Адам никогда не придавал особого значения своим врожденным талантам, искренне ценил неторопливую, ничем не колеблемую трудоспособность приятеля (сам оставаясь человеком порывистым и страстным), и вслед за дряхлой, но бесконечно уважаемой им бабушкой повторял русскую поговорку: цыплят по осени считают. Дружба мальчиков, юношей, мужчин устояла в этом испытании. И теперь Аркадий то и дело натывался на недостаток: в размышлениях о жизни ему очень не хватало Адамова доброжелательного, чуть отстраненного слушания, в клинике – совета талантливого, нестандартно мыслящего коллеги, внимательного исподлобья взгляда: что же это было? Давай обсудим... Не хватало даже молчания – бок о бок, каждый о своем и все равно вместе, редчайшая возможность, как теперь виделось: Аркадий по особому любил разделенную тишину, а люди вокруг него в последнее время слишком много говорили, как будто боялись замолчать хотя бы на минуту и тем впустить в комнату что-то реально ужасное...

Вначале, сразу после отъезда Кауфмана, Аркадий регулярно писал ему подробные письма – со вкусом и удовольствием, задавал много вопросов о его новой жизни. Адам очень благодарил за вести, но отвечал через раз – сухо, скомкано, лаконично. Объяснял просто: я не писатель. Аркадий верил другу, но сам писать со временем тоже почти перестал. Казалось уже неуместным вываливать свои мелкие проблемы, события и мысли на человека, который

от всего этого давно и бесконечно далек. Да и если подумать непредвзято и не преувеличивая собственной значимости – что нынешнему петербургскому Адаму друг детства Аркадий Арабажин, погрязший в обыкновенных катарах, кишечных коликах и несварениях желудка... Ведь Кауфман в столице наверняка живет на переднем крае науки, прокладывает (именно за этим и ехал) новые пути, общается (и, зная Адама, надо думать – вполне на равных!) со светилами отечественной и заграничной (не зря он свободно владеет четырьмя языками) психиатрии...

Впрочем, в самое ближайшее время Адам собирался приехать в Москву навестить родных и заранее написал об этом Аркадию, в максимально теплых для Кауфмана тонах предвкусывая встречу друзей. Арабажин обрадовался письму и теперь с нетерпением ждал возможности повидаться и поговорить с Адамом с глазу на глаз. Что он сможет рассказать ему? Что услышит? Как выглядит сегодняшняя столичная наука не со страниц научных журналов и вестников, а увиденная острым взглядом Адама? Что творится в Эпидемиологическом институте (эпидемиология – давняя область интересов Арабажина, о которой Кауфман обещал специально разузнать)?.. Все эти мысли приятно, как-то очень по-молодому волновали, как будто даже обещали что-то лично ему...

Аркадий сложил лист с текстом прокламации и спрятал его между страниц последнего номера журнала «Медицинское обозрение», который собирался взять домой. Вечером придет товарищ и заберет текст. Партийные дела важнее личных, о них тоже следует думать... Типография на Остроженке разгромлена жандармами месяц назад. Но позавчера на собрании товарищи говорили, что уже есть две новых – одна на Якиманке, другая где-то в районе Пречистенских ворот, в подвале сапожной мастерской. Значит, все листовки будут быстро напечатаны и отправлены на фабрики... Это несомненная, но временная удача. Жандармы лютуют, подгоняемые своим начальством. Шпиками, филерами и провокаторами наводнена вся партийная Москва: сколько пройдет времени до новых арестов, до того, как типографии опять накроют? А когда в охранке вычислят и арестуют самого Январева, давнего члена РСДРП, активного участника событий 1905 года? В общем-то, это не имеет особого значения, так как ход истории остановить невозможно и на место временно или навсегда выбывших из процесса бойцов революции неизбежно приходят следующие... Адам никогда с этим не соглашается. Он считает, что у каждого человека есть в этом мире своя, именно ему предназначенная миссия, и если по слабости или трусости ее не выполнит именно он, то в бытии образуется ничем не заполненная лакуна. Вероятно, эта позиция – отголосок его кровного еврейства и детства, проведенного под кровом бабушки-иудейки, отблески избраннического, пророческого огня, единственность грядущего Машиаха. И хотя по нынешним убеждениям Адам такой же атеист и материалист, как и сам Аркадий...

«Может быть, записать это? – подумал Арабажин, медленно, колеблясь в каждом движении, достал из ящика стола толстую тетрадь и, уже обмакивая перо в чернила, пробормотал себе под нос, по давно укоренившейся привычке фиксируя собственные недостатки. – Потворствую слабостям, даже если они во вред делу. Надо с этим бороться, пока не поздно...»

Когда Аркадий перестал писать Адаму в Петербург, привычка к письменному высказыванию у него осталась. Недержание словес – такое уничижительное определение в рамках доказательной медицины казалось ему более верным, так как все последующие шаги, несомненно, были ошибочными. Человек, занимающийся нелегальной деятельностью и ведущий дневник – что может быть глупее и опаснее?

– *Все это было неправильно с самого начала, – записал он вместо того, чтобы проанализировать мировоззренческие взгляды Кауфмана. – Продолжить эту ее тетрадку, которая и попала-то ко мне, в сущности, нечестным путем. Я должен был отдать ее Любе еще тогда, когда мы встретились с ней в чайной у Трубного рынка...*

Тут же вспомнилось, как пятнадцатилетняя хитровская девочка деловито и бесстрастно предложила ему свое тело в уплату за спасенную на баррикадах жизнь. Аркадия бросило в жар...

– Нет, тогда я не мог отдать ей ее дневник. Да у меня и не было его с собой. Но ведь потом, много раз – мог? Конечно. Но не сделал этого. Почему? И почему стал писать свои первые заметки именно в той, почти исписанной тетради, на оставшихся чистых листах? Какой-то совершенно нетипичский для меня, почти символистский жест, как будто бы я внезапно и по своей воле вступил в члены этого дурацкого пифагорейского кружка... Теперь не хватает только пошить мантию со звездами, напудриться, прочесть труды В. Соловьева и научиться многозначительно закатывать глаза от слов «семиотический» и «экзистенция»... От кого-то слышал, что Любовь Николаевна была очень дружна с этим кудрявым как овца-меринос пифагорейцем, нынче читающим повсюду многословные лекции с замысловатыми названиями и непонятным содержанием... Как же его звали? Вспомнил – Максимилиан Лиховцев... Господи, да о чем я вообще думаю? По всей видимости, мне все-таки не стоило ездить в Синие Ключи на этот бал. Наверняка не стоило! И практикующий врач Арабажин, и большевик Январев решительно не приспособлены ни для такого времяпрепровождения, ни для таких чувств. А разве есть чувства?..

* * *

– Не трудитесь, господа, я сам знаю, что нынешняя стабилизация временна и революция неизбежна, – заметил Юрий Данилович Рождественский.

– Профессор?! – едва ли не подскочил Арабажин.

– Откуда же знаете? – спросил Кауфман.

– Понял, к сожалению, уже давно, еще в 1905 году. Причем ни митинги, ни баррикады, ни прокламации меня в том не убедили. Стачки рабочих, спровоцированные еврейскими агитаторами, студенческие волнения – тем паче. Поверхность общества волнуется, это признак жизни. Главное, что в глубине. А там – увы! – неблагоприятно. Два факта. Моя жена Зинаида Прокопьевна из средней руки купеческой семьи. После замужества ведет дом. При ней всю жизнь, еще из родительского дома горничная-служанка – Федора. Дура-дурой, впрочем, вполне преданная семье. И вот, изволите ли видеть, в Москве – беспорядки. Вхожу в собственную гостиную и вижу – обе женщины согласно молятся перед иконой. Вслушиваюсь – и волосы вокруг плечи дыбом встают. Дословно не передам, но общий смысл таков: спасибо тебе, Господи, что сподобил дожждаться. Мы уж думали, помрем, старые, и так и не увидим, какая она есть – революция... Задумался и я: что сделано с обществом за последние полвека, если для двух старух кровавый бунт – не чаянная уже радость! Это, так сказать, прошлое.

Адам улыбнулся. Аркадий нахмурился.

– Второй факт вот хоть отсюда, – Юрий Данилович потряс газетой, выдержки из которой недавно зачитывал вслух стоящему в кабинете скелету, издавна имеющему собственное имя – Дон Педро. – Слушайте: «В реальном училище Воскресенского произошел следующий инцидент. Воспитанники младших классов забросали учителя немецкого языка снежками. Инспектор пригрозил ученикам увольнением; в ответ воспитанники начали петь: «Вы жертвою пали в борьбе роковой», и пели до тех пор, пока не явилась полиция и не пригрозила запечатать училище.» Это – будущее...

– Потрясающе передовые малявки, – улыбнулся Адам. – Видят в школьных шалостях борьбу с режимом. Что-то будет, когда у них начнется половое созревание...

– Если что и потрясает, – горько сказал Юрий Данилович. – Так это спонтанность, бессмысленность и одновременно полная неотвратимость происходящего... Но, впрочем, Адам, давайте не будем говорить о том, что еще не случилось, и чего мы все равно не в силах предот-

вратить. Поговорим о насущном. Расскажите подробнее о петербургской психиатрии и о ваших личных успехах на ее поприще. Не сомневаюсь в том, что они имеются...

Адам Кауфман сплел тонкие пальцы и свел брови, как будто концентрируя какую-то энергию внутри себя. Аркадий Арабажин почти против своей воли подмигнул Дону Педро: он уже знал, о чем будет идти речь. Вчера весь вечер и всю ночь до рассвета они говорили о том же самом, а потом у Аркадия началось дежурство в больнице, а Адам, в почти сомнамбулическом состоянии погрузившись на извозчика, поехал отдавать визиты многочисленным еврейским родственникам. Вечером, по предварительному договору – визит в Альма матер, а потом – ужин у профессора Рождественского. Оба молодых человека совершенно не спали уже ровно двое суток, но теперь Аркадий приготовился выслушать все сначала, не испытывая ровно никакого раздражения. Нисколько не удивил и не обидел Арабажина и тот факт, что прибывший из столицы Адам почти не расспрашивал друга о событиях его жизни, ограничившись одной, вполне констатирующей, фразой: «Женской руки в твоих покоях не чувствую, в Петропавловской крепости ты не сидишь, и в Сибирь покудова не сослан. Стало быть, все у тебя идет по-прежнему...»

– Вы знаете, Юрий Данилович, что я в своем роде человек одержимый...

– Да, да, – профессор подался вперед.

Несколько лет подряд он связывал свои учительские надежды с незаурядными медицинскими талантами Адама. «Измена» Кауфмана делу общей патологии и его переход в лагерь психиатров больно отозвались в сердце Рождественского. Но теперь, по прошествии пары лет, все как будто бы улеглось и простилось...

– Нынешнее состояние психиатрического знания представлялось мне весьма многообещающим еще из Москвы, а после работы в Психоневрологическом институте и в нескольких петербургских клиниках я лишь укрепился в своем мнении. Со стороны психологической науки и перспективных химических разработок как будто бы уже есть возможность не только утишать страдания, но и возвращать к обычной жизни значительный процент психически больных. Всему, как когда-то в эпидемиологии (здесь Адам подмигнул Арабажину с таким же совершенно выражением, с каким сам Аркадий только что подмигивал скелету), мешает организация больничного дела. Наиболее смелые и перспективные идеи удручающе однообразно тормозятся психиатрами старой закалки и просто самой структурой. Разумеется, все стоящие новации непременно пробьют себе дорогу, но сколько будет упущено времени! Я мог бы сказать о судьбах больных, которые нынче страдают и умирают во тьме, но вы оба слишком хорошо меня знаете, и потому с вами я лицемерить не стану. В первую очередь я думаю о *своем* времени и *своей* жизни. Если сейчас я продолжу работать в городской психиатрической больнице штатным врачом, стану каждый раз с боем требовать применения методов, которые сам считаю продуктивными, и буду терпеливо ждать неминуемого разрушения косности системы, то много лет моей жизни, которые я мог бы посвятить исследованиям и их экспериментальным проверкам, будет попросту упущено! Я не могу и не хочу с этим смиряться. В силу этого у меня возникла весьма претенциозная идея. Я хотел бы создать свою небольшую частную клинику для лечения психически больных и в ее стенах применять самые передовые методики, которые только сумею разыскать по миру и которые (льщу себя надеждой) смогу разработать сам. Я понимаю, что еще молод годами, и вам трудно воспринять мои слова серьезно...

– Адам! – строго, почти обиженно возразил Юрий Данилович. – Я, кажется, не давал вам повода... Даже когда вы с Аркадием были сопливыми второкурсниками, я с совершенной серьезностью выслушивал ваши, удивительные порою мнения о медицинской науке, и с уважением относился к вашим поискам и гипотезам...

– Да, да, конечно, вы правы, простите, профессор, – Адам покаянно опустил голову, но не притушил блеск темных, с золотыми искорками глаз. – Я просто слишком волнуюсь

и оттого с трудом нахожу правильные слова. Аркаша... может быть, ты скажешь, ведь ты с детства мой конфиден, и сегодня ночью... и иногда ты понимаешь меня даже вернее, чем я сам...

– Как только какую неуклюжесть сказать надо, так сразу Аркаша... – проворчал Арабажин.

Но что ж – Адам говорил правду, и Аркадий зачастую действительно неплохо понимал ходы весьма изощренного мышления приятеля. Например, сейчас: пусть профессор услышит все сомнительные аспекты важной для Адама идеи от честного, но недалекого «Аркаши» и поневоле свяжет их именно с ним. А Адам, бескорыстный паладин науки, останется в глазах Рождественского весь в белом. Да ладно, от Аркадия не убудет...

– Если поначалу достать побольше денег, то все очень ловко получится, – сказал Аркадий. – Создать психам чудесные условия, птички-рыбки-фисгармонии, прогулки в саду. Дать рекламу. Адам наш, если как следует захочет, может быть и убедительным, и даже обаятельным. Ни для кого не секрет, что во многих старых и богатых семьях, да и в новых и богатых – тоже, есть родственники, мягко скажем, «со странностями», от которых семья не прочь цивилизованно избавиться. Вот – удобный, гуманный случай. Новое, европейское лечение, молодой обаятельный Адам, красивый сад с розами и фонтаном, уютные комнаты, строгие красивые медсестры. Раскошеливайтесь побыстрее, если хотите избавиться от неудачного сына, обезумевшей жены, выжившего из ума дядюшки... Ведь вы знаете, у нас очень передовые методики, есть даже шанс, что они поправятся... За их же деньги, на их же родственниках наш Адамчик будет вволю проверять свои гипотезы, ставить эксперименты, отслеживать результаты, писать научные статьи...

– Сразу видно опытного партийного пропагандиста! – не удержавшись, съязвил Адам. – Любую идею подать массам в понятном виде, даже если при этом ее придется перевернуть с ног на голову!

Аркадий предупреждающе нахмурился, и Кауфман прикусил язык: о существовании партийца Январева знал Адам, но ни в коем случае не должен был догадаться профессор Рождественский.

Глава 6, в которой хоровод Яша Арбузов выгоняет Люшу из цыганского хора, Большая Глэдис обещает ее спасти, а Таня подозревает в своем неродившемся ребенке исчадие ада.

– Ваш танец – это нечто восхитительное, смесь розы и лилий. Вы как будто рисуете на небесных полотнах. Кажется, что сейчас цветы посыплются прямо с потолка, как на старых фресках...

– Сережа, вы невозможный льстец...

– Рудольф, подтверди, что я прав...

– Он во всем прав, я подтверждаю это доподлинно, но будучи от природы лишен красноречия своего друга, могу осмелиться лишь смиренно поцеловать ручку... или плечико... а также выпить за здоровье искусства в лице и воплощении его... ну вот, опять запутался...

Два значительно нетрезвых молодых человека стояли перед сильно загримированной, еще разгоряченной недавним выступлением цыганкой, которая в вольной позе раскинулась на кушетке и кривила небольшой алый рот в лукавой гримаске. Их неустойчивые фигуры отражались в широком зеркале, обвитом золочеными цветами и листьями в стиле английского модерна. Букеты живых цветов, перевязанные лентами, стояли на туалетном столике в ведерке из-под шампанского. Смутные пятна света – синие, лиловые, золотые – танцевали в душистом сумраке, проникая сквозь разноцветные стекла двери из ярко освещенного коридора.

– Мадемуазель Розанова, вы – богиня! Я обожаю вас безмерно! – козлиным голосом пропел пожилой купец, просовывая в дверь круглую красную физиономию, украшенную обширной, похожей на позолоченную лопату бородой.

Оба молодых человека согласно заслонили цыганку от нового обожателя.

– И я вас тоже люблю, Савелий Петрович, – томно произнесла девушка, вытянула маленькую ножку из-под многоцветного прибоа юбок и кокетливо взмахнула ресницами.

– Позвольте к ручке... и подарочек... крошечный... осласливлен буду...

– Отчего же нет, Савелий Петрович... извольте...

Цыганка тут же открыла бархатный футлярчик и напoказ обвила запястье тоненькой, на цепочке браслеткой.

– Ах, как хорошо... Милый, милый Савелий Петрович... Чмоки, чмоки...

– Богиня...

Купец расплылся в блаженной пьяной улыбке, и оставался при ней даже тогда, когда молодые люди аккуратно, но решительно вытолкали его за дверь.

– Пфу! – презрительно сказал Сережа Бартенев, двумя пальцами приподняв дареный браслет. – Дутое...

– Не трожьте, Бартенев, – сладко зевнув, протянула Люша Розанова. – Мне нравится, а только это и важно. Если Яша не отнимет, так непременно носить стану...

– Яша – это хоровод, что ли? – спросил Рудольф и заметил. – Строго у вас...

– А то. Цыгане – люди по природе соборные. А в хоре – тем паче. Вся добыча – в общий котел, потом делится по паям. Кому сколько положено.

– А вам, Люша, сколько положено?

– Мне – полтора пая. Я со всеми в хоре пою, и еще – отдельный номер танцую.

– Блистательно танцуете, Люша, просто блистательно, – воскликнул Рудольф. – Мне кажется, ваше искусство – это много больше обыкновенных цыганских плясок. Поверьте,

я могу считать себя знатоком, и даже в императорском театре... Я вообще никогда не видел ничего подобного в плане экспрессии тонких чувств... если не считать одного, совершенно, впрочем, особого случая... Но это...

– Руди, замолчи! – прикрикнул на приятеля Бартенев. Рудольф послушно замолчал, а задремывавшая было Люша снова проснулась от удивления: Сережа вдруг выглядел смущенным. Где-то существует нечто, что могло смутить Сережу Бартенева?!

Она могла бы топнуть ножкой и капризно потребовать. Или угрожать немилостью. Вполне могло статься, что молодые люди поддались бы ее напору. Но это был не ее метод. К тому же Люша Розанова получала особенное чувственное удовольствие именно от неразгаданных тайн. Тайна, уже разоблаченная, привлекала ее значительно меньше.

* * *

Стены кабинета обиты бордовой тканью. На столе стоит открытая бутылка вина и два бокала. За тонкой дверью приглушенно шумит загородный ресторан «Стрельна».

Хоровод Яков Арбузов – невысокий, смуглый, европейски одетый человек с импозантной сединой на висках. Не так-то легко угадать в нем цыгана, скорее он похож на испанца или итальянца.

– Можешь оставить себе, – сказал он Люше, возвращая браслет. – Купцы и так раскошелились изрядно.

– Спасибо вам, Яков Михайлович, – Люша присела в изящном реверансе.

«Цыганки так не умеют, – подумал Яша. – Они кланяются вразлет, как мастеровые после рабочего дня пьют первую рюмку водки.»

Хоровод поморщился. Все три года, которые он знал Люшу Розанову, она была послушна и неукоснительно вежлива с ним лично, ровна и приветлива с товарищами по хору, соблюдала все правила, обычаи и даже обряды и суеверия, принятые среди хоровых цыган. Почему же его не покидало ощущение, что девушка все время подсмеивается над ним? И вообще – почему она с самого начала была ему неудобна, как яркая, красивая, дорогая, но не совсем по мерке сшитая одежда? Если бы Глэдис не просила за нее еще тогда, когда Люша голодала на Хитровке, и одновременно за ней тянулась какая-то темная история, чуть ли не с убийством... Кого? Обидчика? Неверного любовника?.. Да какая разница! Некий темный шлейф всегда, с самого начала мерещился Якову за ночным водопадом ее синеватых, цыганских кудрей, древняя, не людская жестокость придонным тяжелым льдом лежала в светлых глазах девочки-подростка... Тогда ей просто некуда было идти. И она все-таки была цыганкой, дочерью Ляли...

Яша чуть потряс головой, выгоняя из ушей с готовностью зазвучавший там незабываемый, стелящийся как трава под ветром, бархатный голос цыганской певицы Ляли Розановой, которую впоследствии увез в свое поместье Николай Павлович Осоргин...

Теперь все изменилось. И нет больше никаких препятствий тому, чтобы разрешить назревший вопрос вполне кардинальным образом. И чем дольше он тянет с этим, тем тяжелее могут оказаться последствия...

– Люша, выслушай меня теперь. Я давно собирался поговорить с тобой, но, если быть честным, все не мог набраться решимости... Нынче уже тянуть некуда. Садись. И я сяду...

– Я слушаю вас, Яков Михайлович, – девушка присела на темно-розовую софу.

Яша сел напротив, оперся предплечьями об колени, свесил небольшие кисти, опустил голову. Стало вдруг крайне легко представить его на передке кибитки, медленно влачащейся по разбитой дороге прямо к горизонту. Утомившееся за день солнце разливает по степи тревожный багровый свет, длинные вечерние тени ложатся на лица людей, ползут по дороге вслед за кочующим табором...

– Я давно понял, что нам надо расстаться, – вскинув на девушку тяжелый взгляд, твердо сказал Яша. – Точнее, это ты должна уйти от нас. Уйти из хора. Довольно этого маскарада.

Даже сквозь грим можно было заметить, как изменилась в лице Люша. Глаза стали огромными и прозрачными, как лужи под небом, нос заострился, кожа приобрела цвет грязной штукатурки. Руки судорожно скомкали пеструю ткань верхней юбки.

– Яков Михайлович, но почему?! Почему вы меня прогоняете? В чем я провинилась перед вами, перед хором? Что сделала не так?

Яша не собирался вступать ни в какие препирательства. Он по природе был немногословен и сразу решил для себя так: скажет и уйдет.

Но эти безумные светло-ледяные глаза, обрамленные странно накрашенными ресницами – темными у корней и почти серебряными на концах...

– Все не так! – с изумлением услышал Яша свой голос. – Никто из нас, включая меня самого, не понимает, во что ты играешь. Ты – дочь Ляли Розановой. Когда-то, в нелегкий для тебя час ты очаровала Глэдис МакДауэлл, которая была подругой Ляли. Глэдис уговорила меня. Та девочка хорошо и необычно танцевала, могла петь. Почему нет? Хор давал тебе стол, кров, работу, как и другим цыганским артистам. Это было понятно. Но потом ты ушла, перестала быть Люшей Розановой и стала Любовью Осоргиной. Зачем ты вернулась?

Люша свела руки перед грудью и сплела пальцы с такой силой, что побелели костяшки. Жест получился наполовину умоляющий, наполовину угрожающий.

– Я быстро поняла, что не могу быть только Осоргиной-Кантакузиной – женой помещика, хозяйкой усадьбы, светской дамой. Я от этого начинаю умирать. Сначала все вокруг становится прозрачным, как будто бы не из этой жизни. А потом постепенно чернеет. И я тоже чернею изнутри, как внутренность сожженных пожаром покоев. Это страшно. Как только ребенок родился, я сразу приехала, вы помните, Яков Михайлович? И привезла старый костюм. Лиф на мне не сходил, потому что грудь молочная была, но я все равно в тот же вечер танцевала. И темнота отошла. На время. Вы понимаете меня?

– Мне вовсе не нужно ничего о тебе понимать. И я даже не могу тебе этого объяснить, потому что ты – не цыганка, хотя в тебе и есть Лялина кровь. Я, хоровод, отвечаю за всех. Ты знаешь: молодежь приезжает в хор из таборов под мою ответственность. И репутация хора, и значит, заработки всех – тоже на мне. Мы поем и танцуем. Нам нужно твердое положение и не нужна двусмысленность. Русская замужняя дама, помещица, принятая в лучших домах Москвы – танцует босиком на ресторанной сцене среди неграмотных цыганок и ходит в кабинеты к пьяным купцам и офицерам. Когда об этом узнают – будет скандал. Мне скажут: Яша, куда ты смотрел и чем ты думал? Мы не хотим больше иметь дело с тобой и твоими людьми...

– Но, Яков Михайлович, меня же в гриме никто не узнает! Да и кому вообще в голову придет? Я же как будто в Синих Ключах живу, а когда сюда приезжаю – в Грузинах в мебели-рашке, где хозяйка вообще не знает, что я танцую, и думает, что я никакая не цыганка, а ваша любовница...

Яша только за голову схватился.

– И здесь, в Стрельне, все знает только Глэдис, да вы, да княжич Сережа Бартенев, а он меня никогда не выдаст, ему самому нравится эта игра...

– Все, довольно! – воскликнул хоровод и встал, чтобы придать себе уверенности. – Репутация моего хора будет зависеть от молчания этого светского обалдуя – педераста и кокаи-ниста?! Довольно игр. Ты взрослая женщина. В детстве можно играть, воображая себя кем угодно – разбойником, певицей, королевой, лошадкой. Но потом детство проходит и надо сделать выбор. Ты можешь стать цыганкой, одной из нас, ты можешь стать русской дамой. Но ты не можешь далее быть и тем, и другим. Выбирай!.. И почему это мне кажется, что ты уже выбрала, – тогда, когда променяла мой хор и Глэдис на семью того архитектора? А?.. Уходи!

Цыганка опустила плечи, зажмурилась и сильно растерла лицо обеими руками. Когда она подняла взгляд, Яша содрогнулся. Жирный и яркий грим причудливо нарушился, размыв черты, смешался, быть может, со слезами, и казалось, что теперь, прямо на глазах лицо цыганки плавится и исчезает, а из-под него появляется...

Яша Арбузов не стал смотреть дальше.

– Уходи! – хрипло повторил он, резко отвернулся и вышел, плотно прикрыв за собой дверь.

С галереи, куда выходили двери кабинетов, был виден просторный зал ресторана, знаменитый зимний сад с гrotтами и бассейнами и множество людей за столиками, вкушающих по-московски обильную трапезу. Гул голосов, музыка, песни мешались с плеском воды, звоном посуды и даже чириканьем невидимых птиц. Яша с облегченным вздохом охватил взглядом эту привычную картину, передернул плечами и, не оборачиваясь, два раза перекрестился.

* * *

Таня навсегда поднятым плечом раздвинула кусты, стряхнув с них снег, отцепила от подола колючую ежевичную плеть, и вышла на небольшую полянку, окаймленную высочеными деревьями. Почерневшая полуземлянка наклонилась на один бок. Из трубы поднимался жидкий дымок. Перед входом в избушку снег был плотно утоптан, на пороге, подняв пистолетом заднюю лапу, умывался крупный полосатый кот. Не опуская лапы, он внимательно глядел на Таню круглыми желтыми глазами. В кустах перепархивали и посвистывали синички.

Оказавшись на полянке, Таня для начала согнулась в пояснице, упершись кулаком в бок, и отдышалась после похода по лесу. Потом подошла к дому и постучала по притолоке кулачком в вязаной рукавице. С козырька над дверью прямо на кота упал мягкий шмат снега. Кот фыркнул, вскочил и скрылся в кустах.

Дверь отворилась, выпустив наружу волну теплого, наполненного травяными ароматами воздуха. Невысокая, с Таню ростом старушка с круглым румяным лицом, не особенно разглядывая посетительницу, приглашающе помахала рукой. Таня поздоровалась, почистила валенки прислоненным к стене веником и вошла в избушку.

Крупный филин, сидящий на специальной жердочке, воткнутой между бревнами, увидев Таню, угрожающе расправил крылья, вытянул вперед шею и защелкал клювом.

– Тихон, да ладно тебе пугать-то! – сказала старушка. – Нешто лесникова дочь тебя беспокоит?

Птица послушно сложила крылья, выпрямилась и замерла изваянием на своем насесте, изредка помаргивая оранжевыми глазами.

– Совсем обленился, старый пень, – пожаловалась старушка гостье. – Как снег лег, так даже не пробует вылететь куда и мышей али птичек половить. Сидит на своем сучке, жрет да гадит.

– Липа, я к тебе по делу пришла, – сообщила Таня, останавливаясь у низкого стола, где на куске грубого крапивного полотна были тремя кучками разложены аккуратно порезанные на части корешки.

Колдунья и травознайка Липа жила в лесу много лет и, наряду с источниками Синие Ключи (которые и дали название усадьбе), считалась местной достопримечательностью. Откуда она пришла и почему поселилась не в деревне, а в одиночестве на лесной опушке – никто не знал. Ходили к ней за помощью в основном бабы, но численно клиентура ее была никак не меньше, чем у фельдшера в Алексеевке. Деньгами Липа брала за лечение и ворожбу далеко не всегда, чаще – продуктами, услугами, а иногда и вестями о происходящем в соседних деревнях и усадьбах, в империи и даже в мире. Черного колдовства знахарка избегала, на смерть,

болезнь или разорение врага ворожить отказывалась. Впрочем, приворотное зелье продавала безотказно, особенно девкам. Иногда оно даже действовало.

– Оно понятно, что не просто поздороваться, – усмехнулась Липа. – Кто ж ко мне без дела через лес потащится? Особоливо зимой... Раздевайся да садись вон, или, если замерзла, чаю себе липового налей. Он горячий еще.

– Потом если, – отказалась девушка. – Там с утра холода особенного нету, да и я, пока шла, взопрела скорей, чем замерзла. – Таня сняла полушубок, размотала платок, потом расстегнула душегрейку и тяжело, боком опустилась на чисто выскобленную скамью.

Сама Липа уселась на лежанку возле печки, застеленную двумя лоскутными одеялами и заваленную едва ль не дюжиной пестрых, обшитых тесьмой подушечек.

– В тягости я, – сказала Таня, глядя в пол и перебирая тонкими сухими пальцами былинку, вытянутую из пучка висящей вдоль стен травы.

– Ох! – выдохнула Липа. Видно было, что такого оборота событий она не ожидала.

Помолчали. В молчании обе размышляли, перебирали варианты.

– И чего ж теперь? – спросила, наконец, знахарка.

– Скинуть хочу, – девушка поджала и без того узкие губы. – Помоги мне.

– А какой срок?

– После жатвы уже. Вот сразу как журавли с полей над Удольем снялись – тогда...

Липа недовольно нахмурилась.

– Что ж раньше-то думала, Таня? И зачем? Ты ведь не старая еще, сможешь выносить и родить себе и Мартыну на радость. Горб-то у тебя на спине, а не там, где дитя носят.

– Не по-божески все это с самого начала, – сказала Таня. – А нынче мне еще и сон нехороший снится. Три дня подряд. Тут и вовсе дурная разобралась бы, что к чему...

– Что ж за сон?..

– Да как будто родила я уже ребеночка, мальчика. И как-то он сразу и ходить начал, и говорить, и даже зубики у него все есть. И не то, чтобы вырос, а прямо таким и на свет явился. И вот он меня просит: пойдём, погуляем, а то мне на одном месте надоело сидеть. Я согласилась, хотя у меня по хозяйству еще много дел оставалось. Но как же свое дитя не потешить? И пошли мы с ним, и пришли к Синим Ключам. Я на скамеечку села, а он кружкой водички зачерпнет и играет с ней по всякому. Сначала птички к нему прилетали, потом сова, потом мыши летучие. После кто-то прозрачный из самого большого ключа-Дедушки вылез, а дальше и вовсе нечисть какая-то из чащи полезла. А он их не боится ничуть, и со всеми с ними не то разговаривает, не то еще что. Я хотела было – его в охапку и бежать, да у меня ноги приросли. А тут выходит откуда-то девица с белыми глазами, с инеем на обшлагах, да на ресницах и говорит: это не твой ребенок. Я разозлилась и говорю ей: а чей же он?! А она отвечает: мой, конечно, я давно маленького хотела. Суди сама: у тебя он без отца будет расти, а у меня гляди – сколько желающих. И на всю эту нечисть показывает. Тут я заплакала горько, а он-то только смеется и ручки свои к ним тянет. Я гляжу, а на ручках-то у него и вправду шерстка растёт и коготки. А позади – хвостик маленький, вроде как у поросенка... И такое три ночи подряд. Сегодня уж вовсе немого стало, и я к тебе побежала. Христом богом молю, помоги мне, Липа, от выродка избавиться... Грех весь мой, на тебе его не будет...

– Да ты подумай, что говоришь-то! – прикрикнула на Таню знахарка. – Именем Спасителя просишь нерожденное дитя убить.

– Да не от Спасителя он, а от Врага его! – сипло крикнула в ответ Таня и закашлялась, трясая горбом и инстинктивно придерживая одной рукой живот. – Разве ж не явлено мне во сне?! Да и рассудить если: у кого, как не у лесной горбуны должен такой родиться?! Разве что у волчицы...

Липа слезла с лежанки, подошла к полкам, сняла оттуда накрытый тряпицей кувшин, налила из него, подала Тане кружку:

– На-ко выпей сейчас! И погоди причитать. Ты-то первый раз в тягости и спросить тебе некого, а я с бабами по этому делу не один десяток лет вошкаюсь. Ты себе и представить не можешь: чего только беременным в голову не лезет! Такая чушь, что порою и концов не найти: что, почему? Была у меня одна, которая землю ела. Другая считай всю дорогу, пока брюхатая ходила, сосала железные подковы – якобы порчу от дитяти отгоняла. А еще одна месяц на дереве спала, в развилке – пряталась от какого-то беса, который к ее домашней постели приходил и хотел ребеночка себе забрать...

– И что же с ними? – Таня допила зелье из кружки и взглянула с легким интересом.

– Родили все трое здоровых ребятишек.

– Но они-то небось не во грехе жили...

– Кто, кроме Христа, доподлинно знает, что есть грех, а что благо? – философски спросила Липа.

С самого начала ей было ужасно интересно, кто же все-таки отец ребенка, которого уже три месяца носит горбунья, но спросить она не решалась, чтобы еще больше не расстраивать Таню. Насилие, наверное, – за свою долгую жизнь Липа насмотрелась на всякое и ничему уже не удивлялась. Единственное, что здесь было непонятно: как неведомый насильник не испугался ружья Мартына? Ведь дочь у лесника одна, и попусту пугать ее обидчика он тоже не станет. Случайный бродяга? Проезжий охотник? Должно быть, по глухой пьяни все случилось, – решила Липа. – Когда уже не только горбунья, но и коза – невеста...

– Отец Даниил знает, у него спроси, – неожиданно фыркнула Таня. – Он тебе все и расскажет.

Напиток из кружки явно подействовал на нее ободряюще.

– Шас, разбежалась я к отцу Даниилу, – усмехнулась в ответ Липа. – А вот тебе-то как раз и придется... Как только родишь, сразу, ничего не дожидаясь, крестить понесешь. Чтоб никакая нечисть и на порог взойти не успела. И сама тоже... небось до церкви-то дойти, на службе постоять ленишься...

– Да я... да как мне из лесу... хозяйство на мне... да меня ноги не несут, и в деревне мальчишки глупые, дразнятся...

– Вот! – колдунья назидательно подняла пухлый короткий палец. – А потом еще удивляешься, что тебе сны снятся, как у тебя леший с девкой Синеглазкой ребеночка в лес сманили. В твоём-то возрасте надо уже уметь сны-то разгадывать.

– А как правильно мой сон разгадать? – Таня оперлась обеими ладонями о лавку и подавалась вверх и вперед. – Скажи, Липа, скорее!

– Господи, да все же как день ясно, – знахарка пожала плечами. – Ты зачала без венчания, и теперь, вместо того, чтоб в церкви у ног Божьей матери заступничества молить, по лесам, да по Синим Ключам, да по прочим языческим местам шляешься. К колдунье вот явилась с просьбой плод вытравить. Удивляюсь я еще терпению Спасителя нашего. Ты когда последний раз причащалась?

– Я...

– Вот! Господь тебе испытания и спасение посылает, а ты – нос воротишь. После спохватишься, да все уже минуло... Взгляни вот хоть на меня. Чего бы я нынче не отдала, чтобы у меня в жизни хоть какой, хоть от кого ребеночек случился... Ан не случилось, и доживать мне теперь век одной, с филином да котами. Думаешь, сладко? А у меня между прочим в молодости никакого горба не было, и даже хорошенькой некоторые считали... А вам с Мартыном милость Господь посылает, так уж потрудись за ради того...

– Потрудиться? Как, как, Липа? Вразуми! Я ведь и вправду все не так поняла! Глупа я, корьем в лесине своей заросла, правду ты говоришь... Что ж мне сделать-то? Говеть, к причастию идти, это ясно. А еще? По вечерам на коленях молиться, на службы из леса ходить? И пусть все смеются, и отец Даниил, и мальчишки дразнят, это мне испытание от Господа, да?

Танины тускловатые глаза зажглись синим фанатичным огнем.

– Да ладно тебе, ладно, – мысленно попятилась назад Липа. Она лучше других знала, что такое идефикс, засевающий в мозгах беременной женщины. – Тут главное, чтобы ребеночку не повредить. Два раза за неделю сходишь, и довольно.

– Но обязательно на воскресную, да? Да, Липа? Чтоб народу побольше, и колокола звонили, звонили...

Колдунья усмехнулась, но промолчала.

Горели в печке дрова, по комнате плыл синеватый дымок. Филин Тиша внимательно наблюдал за людьми и еще за крупной мышью, которая, балансируя хвостом, шла по балке к полкам с крупой. Хорошо бы слететь с насеста и поймать ее. Но летать в избе неудобно, можно больно удариться крылом, да и еду – крупно нарезанные кусочки курятины или иной птицы – вечером принесет Липа на блюде с колокольчиком. Пускай наглую мышь ловят коты. Зачем-то же хозяйка держит в доме этих противных животных...

Стойкий дух от многочисленных, развешанных на веревках пучков трав, цветов и побегов. Корешки в березовых туесках. Паутина в углу. Аккуратно подписанные настои и отвары на полках в стеклянных банках. Две полки с книгами и большая стопка пожелтевших газет.

Бывшая московская акушерка Олимпиада Куняева не знала, грамотна ли Таня. Могло сложиться и так, и эдак. Мысль дать ей прочесть повесть господина Куприна показалась пожилой женщине достаточно забавной. Но это уже было, как сказала бы сама Таня, от лукавого. Жизни ребенка на данный момент ничего не угрожает? Вроде бы уже нет. И на том спасибо.

Липа зевнула и с удовольствием подумала о вечерней рюмочке портвейна... и, пожалуй, действительно можно будет по случаю перечитать «Олесью»...

* * *

– Глэдис, он меня выгнал! Яша выгнал меня, и я теперь непременно умру! Я теперь хорошо, очень хорошо понимаю, как и отчего умерла в Синих Ключах моя мать. Это очень просто – внутри все постепенно выгорает с дикой болью, и вместо души остается жирная черная сажа и летучий седой пепел. Так сгорела моя мать, я знаю, я видела этот болючий пламень в ее глазах на портрете. И ни один, самый лучший врач не вылечит эту болезнь...

В небольшой комнате со скошенным потолком Люша металась, как лесная куница, запертая в тесной клетке. Воздух спиралью завивался вокруг ее небольшой фигурки и пах пудрой, потом и звериным мускусом.

– Можешь разбить стакан, вот этот. Только не кидай его в окно, – спокойно сказала Глэдис Макдауэлл, немолодая актриса, когда-то выступавшая на Бродвее, а потом прихотливым переплетением судеб занесенная в Россию.

Теперь она танцевала, пела комические куплеты и жонглировала в том же загородном ресторане, где выступал хор Яши Арбузова.

Люша с яростным воплем разбила высокий стакан об покрытый оранжевой мастикой пол и каблучком растоптала осколки.

– Только потом не забудь все убрать, – зевнула Глэдис. – Я ночью на горшок босиком встаю, не хочу ногу наколоть...

– Глэдис! Большая Глэдис! Твоя Крошка Люша так несчастна! – девушка с размаху бросилась на пол и, издав горловой звук, средний между рыданием и рычанием, уткнулась лицом в колени актрисы.

– Ага, ага. I understand: you are unhappy, (я понимаю, ты несчастна, – англ.) – Глэдис ласково погладила Люшу по волосам. – Это случается в молодости every now and again – как сказать по-русски?

– То и дело, – машинально, не поднимая головы, перевела Люша.

– То и дело, – согласилась Глэдис. – Потом опять и опять... А сейчас мы с тобой будем пить кофий с коржиками.

Актриса высвободилась, встала, запахнув на полных крепких бедрах фиолетовый японский халат, расшитый драконами. Разожгла огонь в спиртовке, поставила на нее кофейник. Достала из небольшого буфета тарелку с коржиками, посыпанными корицей.

– Глэдис! Глэдис! – Люша, не вставая, с силой покатила голову на шерстяном покрывале покинутой лежанки, отчего волосы ее сбились в неопрятный войлок. – Ты была подругой моей матери, которую я совсем не помню. Ты спасла меня, когда я зарезала Ноздрю и меня искала полиция и Гришка Черный. Скажи же скорее: что мне делать теперь?! Могу ли я хотя бы помогать тебе в твоих репризах? Хочешь, я буду твоим гуттаперчевым мальчиком? Мне уже много лет, но я маленького роста и все еще достаточно гибка...

– Здесь надо думать больше, чем одну минуту, Крошка Люша, – Глэдис наставительно подняла длинный палец с желтоватым, загибающимся к ладони ногтем. – Я, конечно, не против взять тебя к себе, но Яша наверняка этого не захочет и станет настраивать хозяев ресторана, пугать их скандалом... Он ведь выгнал тебя, испугавшись скандала, так?

– Да, да, – Люша несколько раз кивнула. – Ты права, он не позволит мне... Я отомщу ему! Ведь я ни разу не нарушила ни одного из их законов...

– Не говори ерунды! Яша должен заботиться не только о себе, но и обо всех хористах. Ты же лучше меня знаешь, как это устроено у цыган... В общем, из Стрельны он тебя выживет в любом случае. А я уже слишком стара, чтобы менять locality (место обитания – англ.)...

– Хорошо, – Люша перестала рыдать, и подняла к Глэдис почти спокойное, бледное, уже отмытое от грима лицо. – Что ж поделать. Тогда я умру. Но прежде, наверное, еще убью кого-нибудь. Двух-трех, я думаю... Это, конечно, неправильно. Может быть, мне сразу удавиться, не дожидаясь?

– Э, нет! – усмехнулась Глэдис. – Удавиться было бы для тебя слишком просто. Как говорили у нас на Бродвее, *show must go on*, то есть представление должно продолжаться любой ценой. И у меня уже есть по этому поводу кое-какие мысли. Хотя, возможно, они тебе и не очень понравятся... Крошка, здесь я должна тебя спросить: ты любишь мужскую любовь? Я помню, что замуж ты вышла только для того, чтобы завладеть поместьем... Но кто-то другой, в прошлой или нынешней жизни?

Люша сидела на полу и, свернув кулек из старой афиши, сосредоточенно собирала туда осколки стакана. На вопрос Глэдис она ответила не сразу.

– Наверное, правильно будет сказать, что я к ней равнодушна...

– Тогда что – любовь между женщинами?

Девушка взглянула на Глэдис с удивлением.

– Конечно, нет. А что – на это похоже?

– Ты вообще ни на что не похожа, Крошка Люша, – с досадой сказала актриса. – Как говорят у вас: ни богу свечка, ни черту кочерга. Но ведь, когда ты танцуешь, ты умеешь завлекать...

– Конечно! – с неподдельным энтузиазмом воскликнула Люша, поднимаясь на коленях. – Я могу любого завлечь, если он еще на ногах стоит. И многих, которые уже лежат, тоже. Не забывай, я же на Хитровке росла и... слушай, Большая Глэдис, я понимаю, что ты американка, но все равно ведь интересно: если мужчина становится мужчиной, то про него у нас говорят «мужал». А если женщина – женщиной? Как про нее сказать? А по-английски можно?..

– *She matured at the years?* (она мужала с годами – англ.) – предположила Глэдис. – Кажется, в английском нету разницы...

– Отлично! Значит, я *matured* на Хитровке, – Люша приободрилась, ее глаза налились синевой и заблестели. – Так ты что, Глэдис, действительно знаешь бордель, где под твое слово со мной согласятся заключить контракт на два месяца в году, по месяцу зимой и осенью? Чаше я не смогу приезжать... И мне ведь, кроме этого дела, еще обязательно надо танцевать, ты

понимаешь? Но они ничего не станут про меня узнавать? А что там за клиентура? Я, ты понимаешь, дурных болезней боюсь, не за себя, конечно, но у меня же там дети...

– Погоди, погоди, Крошка Люша, не суетись. Торопливость, как у вас говорят, нужна только при ловле блох. Мне нужно все обдумать, навести справки... В общем, ты сейчас убирайся от греха подальше в свои Синие Ключи и сиди там тихо, как мышь под веником. Когда все будет готово, я скажу, и Бартенев за тобой приедет.

– Княжич Сережа Бартенев? – улыбнулась Люша. – А он разве...

– Я буду действовать через него.

– Но Глэдис, помилуй, я совсем запуталась... Зачем Сереже бордель, где я буду завлекать мужчин? Или мы с ним будем на пару... конкуренты?!

И Люша, не удержавшись, рассмеялась своим странным булькающим смехом, от которого у многих мурашки бегали по коже, а некоторых начинало даже мутить. Глэдис, несмотря на привычку, поморщилась.

– Прости, – извинилась Люша, которая давно знала реакцию окружающих на свой смех и оттого смеялась крайне редко. – Но уж очень забавно представилось, как мы с Сережей вместе на сцене, в таких пышных юбках и обязательно почему-то видится в красных чулках...

– Ох-хо-хо, – покачала головой Глэдис.

Два раза в жизни Глэдис Макдауэлл от всей души надеялась, что, выйдя замуж за помещика и родив ребенка, дорогие ей существа обретут счастье и покой. Ляля Розанова и Люша Розанова. Оба раза американка ошиблась.

«Ну что ж тут поделаешь, – философски подумала Глэдис. – Может быть, замужество и богатая ферма в родном Канзасе меня бы и устроили. Но, скорее всего, это мне только кажется... Хуже другое, – продолжала размышлять немолодая актриса. – Иногда мне кажется, что вот этой внутренней болезнью-пожаром, которую так красочно описала Крошка, больна вся эта страна. Российская империя. Но, если это так, что же будет лечением? Всеобщие танцы во всероссийском борделе? И все – в красных чулках?.. Будем надеяться, что я до этого не доживу...»

Глава 7, в которой герои ищут пропавшие сокровища Ляли Розановой, гадают и едят кугель в веселом еврейском семействе.

Над столом висела большая лампа с розовым абажуром в форме тюльпана. На комодѣ, кокетливо выставив локоток, стояла розовая же фарфоровая пастушка и тикали ходики. Их тиканье сливалось с равномерным чавканьем сидевших за столом детей и мужчин. Все они молча и сосредоточенно поглощали мятую картошку с подливой, заедая основное блюдо крупно порезанными кусками ситного хлеба, квашенной капустой и сочащимися едким соком солеными огурцами. Картошку ели ложками, капусту брали из деревянной миски щепотью, подставляя хлеб, чтоб не капнуло на стол. Самого маленького ребенка из четверых, коѣму на вид едва исполнился год, кормила сестра-семилетка, у которой он сидел на коленях. Высокая крепкая женщина с уложенной короной косой, не садясь, подавала на стол.

Когда картошка была съедена, все дети, кроме меньшего, поблагодарили Бога и родителей за хлеб за соль и попросили у отца разрешения выйти из-за стола. Отец – русобородый, с мясистым широким носом, похожим на только что съеденную картошку, взглянул на мать. Женщина, стоя у комода, едва заметно кивнула. Детей отпустили. Старший сразу ушел в угол, развернул тетрадку, взял карандаш и принялся готовить уроки. Семилетка развлекала малыша, расстилая перед ним разноцветные лоскутки и заворачивая в них маленькие деревянные чурочки. Ее младшая сестра достала из ящика лысую куклу с облупленным носом и сосредоточенно нянчила ее, тихонько напевая какую-то песенку.

Младший из мужчин принес из кухни самовар. Женщина подала чашки, наколотый кусками сахар и баранки. Увидев баранки, младший ребенок начал хныкать, и показывать на них пухлым пальчиком. Девочки глядели на сахар, но ничего не говорили. Мать раздала всем по баранке. Малыш сразу начал мусолить ее, семилетка куда-то незаметно припрятала, ее сестра разломала на мелкие кусочки и предлагала их кукле. Старший мальчик с деланным равнодушием положил баранку на край стола и явно задал себе какой-то урок. Мать, отходя от него, со снисходительной лаской потрепала русые вихры сына.

– Светлана, да сядь ты наконец, посиди с нами, чаю испей, – сказал отец семейства. – Что ты все хлопочешь.

Женщина тут же присела к столу, налила себе чай, потом перелила его в блюдечко и, аккуратно подняв блюдце на трех пальцах, отхлебнула. Мужчины пили из чашек, вприкуску.

– А что, Ваня, какие у тебя на фабрике дела? – спросил младший из мужчин.

Иван наморщил лоб, явно соображая, что отвечать.

– Про забастовку скажи, – подсказала жена.

– А! Бастовать опять хотят, это да. Ходят агитаторы всякие и еще листовки раздают.

– А ты что же, Вань?

– Да я не знаю. У меня-то самого все вроде в порядке. Я механик, а машины что ж – они не разговаривают и до политики им дела нет... Но тоже ведь, если подумать, люди не дураки, не зря беспокоятся... вот агитаторы говорят, надо требовать от фабрикантов своих прав... А какие у меня права? И чего я от нашего хозяина Таккера могу потребовать? Я тех прокламациѣв и прочитать-то толком не могу... Светлана вот у меня в фабричную школу год ходила, там так ловко читать навострилась... Она мне и разъясняет...

– Ладно, Ваня, ответил, все, Степка услышал, – негромко сказала женщина. – Услышал ведь?

– А то, – Степан усмехнулся.

Его старшая сестра командовала простоватым Ваней еще тогда, когда они все вместе жили в Черемошне. Все происходило не слишком явно для постороннего глаза, но с тех пор, как Степка один раз сообразил, не замечать этого стало уже невозможно. При том Ваня реально являлся кормильцем и главой семьи, работал механиком на канатной фабрике Майкла Таккера, получал там вполне приличное жалование, был ценим на работе и по соседям за умные руки и безотказность. По видимости он принимал и все решения внутри семьи. Во всяком случае, дети и посторонние слышали их именно от него, а Светлана всегда оставалась в тени, впрочем, недалеко, чтобы иметь возможность по ходу дела разрешить возникающие у Ивана вопросы и недоумения. Ваню в таком положении вещей все устраивало, а Степан искренне восхищался умением сестры по-умному вести семейные дела.

– А что ж у тебя в Синих Ключах? – спросила Светлана брата. – Все без толку пока?

– Да пустое это дело, Светлана, – мрачно сказал Степан. – Коли уж до сей поры не нашлось, так и вовсе не найдется. Так я думаю.

– Ерунды-то не говори! – прикрикнула Светлана. – Не языком надо молоть, а дело делать. Не останавливаясь. Тогда и толк будет.

– Да где же оно, где? – нервно морщась, возразил Степан. – Пока дом перестраивали я, считай, каждое бревнышко, каждую доску в полу обстучал, обнюхал, разве что языком не облизал. Двор тоже перекопали, в фонтане плитку переложили, якобы во время пожара она от жара потрескалась. Что ж еще? И сколько ж можно!.. Да нету их там! Нету! Надо, я думаю, забыть про все и жить дальше, вон как сама Люшка живет...

– А что же, Любовь Николаевна и вправду про пропавшие материны драгоценности позабыла? И про бриллиант тоже? – с интересом спросила Светлана. – Это из-за болезни ее? Или просто вид делает?

– Да помнит она все. Мы с ней как-то будто невзначай про это дело заговорили, я навел. Ничего она не забыла, конечно, описала легко, как я тогда в окно в отцовский кабинет влез, а она передо мной во все это наряжалась. И как потом Александра Васильевича с этой его Юлией бриллиантами да рубинами дразнила. Ей просто дела нет...

– Да как это может быть, если там одних камней выходит на многие тыщи?! Старый барин ведь когда Торбеево продал, все деньги подчистую на украшения для цыганки пустил. Да еще наследство барыни Натальи Александровны... После пожара все исчезло неведомо куда, а ей и дела нет? Как так?

– А вот эдак... – Степан пожал широкими плечами. – Люшка к деньгам никогда жадности не имела. А про бриллиант и прочее сказала мне так: что ж, бог дал, бог взял, сгинули и ладно. Кому эти побрякушки счастье-то принесли?.. Надо и нам отступить, Светлана... Нету там ничего...

– А вот и есть! – убежденно воскликнула Светлана.

Ваня между тем вылез из-за стола, принес из кухни свою рабочую кожаную сумку, достал из нее завернутую в промасленную тряпку железяку и пристроился с ней у небольшого верстака в углу за платяным шкафом. Разговоры о пропавшем сокровище он и прежде слышал много раз, и они не вызывали у него ни малейшего интереса.

– Ты, Степка, сам подумай. Когда пожар случился, ларец с украшениями в усадьбе точно был, так? Так. Старый барин из него Люше играть давал, она тебе и рассказывала и даже раз показала. После пожара никто ни одной вещи из того ларца не видал и об нем не слыхал. Если б хозяева нашли, ты бы знал. Если б из деревенских кто или из челяди, он бы тут же свою жизнь поменял, и тоже слухи бы дошли – такие вещи крестьянину или кухарке впрок обычно не идут. Значит – что? Лежат они где-то, голубчики, дожидаются, когда их найдут... Тем паче, что Любовь Николаевна по твоим словам о них не вспоминает, Александр Васильевич в отъезде,

Николай Павлович в могиле, а Юлия эта незнамо где... Мы только и помним, и сам бог нам велел...

– Черт тебе, Светка, велел, и ты сама о том ведаешь! – с неожиданной яростью выкрикнул Степан. Младшая девочка от испуга уронила куклу, а малыш заплакал. – Я бы и хотел позабыть все, да не выходит!

Вместо того, чтоб прикрикнуть в ответ, Светлана тепло улыбнулась брату и, плавно ступая, прошла по комнате – бегло приласкала младшую дочь, показала козу младенцу, с уважением оглядела разложенные на тряпочке гайки, болты и пружинки, над которыми склонился Иван.

– Ты успокойся теперь, Степушка, – ласково попросила она. – Прошлого не вернуть, а подумай-ка лучше сам, что мы с такими деньжищами наворотить сможем... Детишек всех в университетах выучим, Ваньке мастерскую купим или уж фабрику фейерверков, мне – дом с землей, потому как все-таки тянет меня к крестьянству... а тебе в невесты такую раскрасавицу отыщем...

– Не нужна мне никакая невеста! – резко сказал Степан.

– Да как же – не нужна? – удивилась Светлана. – Когда Ваня в твоих годах был, я уж вторым дитем тяжелая ходила... Или у тебя завелся кто на примете? Так ты мне скажи...

– Ничего я тебе говорить не стану...

– А не хочешь, и не надо, – покладисто согласилась Светлана. – Но кто бы она ни была, от денег небось некоторая не откажется. Ты и так жених собою что надо, а уж если приоденешься по-городскому и пачку ассигнаций тебе в карман...

– Да что бы ты, Светка, в жизни понимала!

– Кое-чего понимаю, а кое-чего, знамо, и нет. Но это ж со всеми так, все-то только один Господь ведает... Ты лучше вот что мне скажи: ты амбары все проверил? Там под стрехами не то что ларец, там Ванькин станок спрятать можно...

Степка обхватил голову руками и не то застонал, не то заскулил – протяжно и тихо, словно от нестерпимой зубной боли.

– Водочки ему налей, – посоветовал Ваня из своего угла.

Младшая дочь Светланы оставила на сундуке уснувшую куклу, подошла к дяде и протянула ему кусок баранки, только чуть-чуть обгрызенный с одного бока. Степка молча обнял девочку и зарылся лицом в ее светлые, пахнущие мятой и молоком волосики.

* * *

Зимой здоровье Камиши всегда ухудшалось. Уходил аппетит, каждый вечер поднималась температура, кашель мучил по ночам, а утром из-за слабости девушка не могла встать с кровати и весь день полусидела в тихой дальней комнате, приподнятая в подушках. Сразу же по семейству, друзьям и знакомым серой шуршащей змеей начинал ползти печальный слух: бедная Камиша угасает на глазах, доктора определенно сказали, что она не доживет до весны... Разговаривали шепотом, навещали «бедную Камишеньку» по одному, в очередь, которую устнавливала и регулировала строгая, мужиковатая прислуга Степанида, приставленная семьей к Камилле с самого начала ее болезни. Шторы и фортки всегда были закрыты во избежание сквозняков. Вся еда подавалась больной непременно в протертом виде (чтобы было легче жевать и проглатывать) и чуть теплая – чтобы не простыла и не обожглась. Обязательным считалось также обильное питье каких-то горько-сладких, приторных микстур, изготавливаемых аптекарями по рецептам докторов, много лет наблюдающих течение Камиллиной болезни.

Все семейство считало особый режим больной делом совершенно естественным, и только Любочка Осоргина утверждала, что от пары недель такой жизни и здоровый обязательно заболит.

Чтобы избавить Камишу от этого непереносимого зимнего «угасания», Любовь Николаевна на Рождество пригласила родственницу и подругу в Синие Ключи.

– Помрет, так помрет, – философски объяснила она свою позицию дядюшке Лео, архитектору и признанному главе обширного клана Осоргиных-Гвиечелли. – Похороним тогда. Но чего ж не повеселиться напоследок? Мы там у себя каток залили, елку для детей нарядили прямо во дворе, а Ивана Карповича слуга, раскосый такой, но не японец и не китаец (он его с собой из Сибири привез), научил нас собак в упряжки запрягать. По четыре или даже по шесть штук сразу. И сани специальные сделал. Очень ловко они бегут, когда не грызутся промеж собой, но и то тоже весело... А еще Степкин зять Ваня Озеров обещал фейерверков прислать. Они у него знатные выходят, только не всегда вовремя взрываются... А горки у нас какие! Лед, как стекло! Дети все в шишаках ходят, да и я сама недавно поехала спиной вперед и чуть шею себе не свернула...

– Любочка, ты не находишь, что те чудесные развлечения, которые ты описываешь, для Камишеньки в ее нынешнем состоянии слишком э-э-э... слишком энергичны? – осторожно спросил Лев Петрович. – Она давно не встает с постели, и я как-то плохо представляю ее себе на коньках или, тем паче, катающуюся верхом на твоих полудиких усадебных псах...

– Да не верхом, дядюшка Лео, на саночках, я же сказала, – с досадой возразила Люба. – Сами-то они саночки часто переворачивают, это верно, но если рядом с ними бежать, и орать на них все время, как Ивана Карповича слуга показал, то ничего... Камиша же собак и всякую живность очень любит!

Лев Петрович только тяжело вздохнул, но ничего не сказал. Он был немного рассеянным, но пронизательным человеком, и отчетливо видел связь: все лекарства давно себя исчерпали; последние три года Камилла Гвиечелли жила только благодаря тому, что в ее жизни появилась Любочка Осоргина и связанные с нею новые многообразные впечатления.

Таким образом, несмотря на энергичные возражения Анны Львовны Таккер и большинства других «разумно мыслящих» членов семейства, Камилла вместе с сопровождающими ее Степанидой и Луизой оказалась под Рождество в Синих Ключах. В дороге она простудилась, отчего здоровье ее, вопреки всем надеждам, отнюдь не улучшилось.

Из окон отведенной Камише комнаты был виден двор с фонтаном и катком. Вечером там зажигали факела и огни на елке. Тени тревожно металась по потолку. Атя и Ботя прибегали с ледяными пальчиками и ярко-розовыми от мороза щеками и сразу лезли под подушки – там Камиша прятала для них пряники. Они приносили ей снежки и сосульки. Камиша тайком от Степаниды лизала и грызла их – ей нравился холод и пресный вкус талой воды. Атя советовала окунать сосульки в варенье, потому что так получается вкуснее всего, и даже стянула початую банку смородинового повидла у кухарки Лукерьи. Горничная Феклуша нашла ее под кроватью Камиши рядом с ночным горшком, когда мыла пол, и долго размышляла над тем, что бы это могло значить. Конюх Фрол скрепя сердце пожертвовал для собачьей упряжки старые бубенцы, и по их звону, а также по истошному лаю и пронзительным нечленораздельным крикам погонщика Камиша всегда знала, когда новое усадебное развлечение проносится мимо ее окон. По ночам сквозь черные ветви липы призывно помаргивали лучистые, промерзшие звезды.

– Гадать не будем, – решительно заявила Люша Марысе Пшездецкой, приехавшей в усадьбу на три дня погостить (дольше она не могла оставить трактир – «все же испоганят, черти!»). – А то Камишке в зеркалах вечно либо гроб видится, либо венок из белых цветов. Кому надо?

– Давай без Камиллы, – без надежды предложила Марыся.

Люша неожиданно согласилась. Марысе получился жених в высоком цилиндре, а когда на имя бросали валенок из-за амбара, то первым появился конюх Фрол, который выходил на улицу облегчиться. Марыся сказала, что муж по имени Фрол ей, пожалуй, не нужен. Люба

посоветовала Марысе бросить валенок перед городской Думой. Там имена наверняка окажутся поблагороднее, если конечно раньше саму Марысю не заберут в участок. Луизе вышло путешествие на корабле, Ате – красивый дворец с высокими потолками, Боте – незнакомая девочка, танцующая на шаре. Сама хозяйка усадьбы не увидела в зеркалах ничего, кроме бурно пылающего костра.

Пока хозяйка была занята, в комнату к Камилле по предварительному уговору пришла горничная Настя и принесла все потребное для гадания. Обе не ждали ничего для себя хорошего, и ошиблись. Плавающая в миске скорлупка со свечкой подожгла слово «любовь» у Камиши и «перемены» у Насти. А в зеркальном коридоре Камиша явственно увидела дитя с золотыми волосами и веснушками на вздернутом носике. Дитя тянуло к ней ручки и весело смеялось.

После она не могла уснуть и едва ли не впервые в своей взрослой жизни думала о будущем. Под утро на стеклах выросли мохнатые узоры из инея, и Камиша сквозь них смотрела на медленный зимний рассвет.

А днем она сказала Любовь Николаевне, что сразу после Нового года уедет в Москву. Та не стала ничего спрашивать и только велела как следует утеплить огромную, но старую карету с гербами, в которой путешествовала Камиша и которая принадлежала еще матушке жены Льва Петровича.

Накануне Камишиного отъезда Степан принес за пазухой снегиря. Снегирь был малиновый, толстый, с широким клювом, его сердечко бешено стучало в Степкину ладонь. Подкараулил, когда в комнате не было посетителей. Напрасно. Бдительная Степанида, как и прежде, не пустила даже на порог, услышав еще в коридоре.

– Иди, иди себе мимо, Степан, – замахала она рукой. – Отдыхает Камилла Аркадьевна.

Степан понимал, что ругаться со старой служанкой бесполезно. Она охраняла Камишу на свой лад и лучше всякого пса.

– Когда же можно?

– А никогда! – осклабилась противная старуха. – Нечего тебе тут...

– Других же пускаешь... –

– Другие – либо хозяйкины дети, либо баре приезжие, либо слуги – все по делам...

– Я тоже по делу. Вот, гляди – птичку принес. Ты же знаешь: Камилла Аркадьевна очень птицам небесным радуется. Дай мне только подарок ей отдать и слово молвить...

– Како-ое тебе слово?! – презрительно протянула Степанида. – Ты – кто? И она – кто? Чего ты вообще себе решил? Чего вообразил башкой своей дурной? Там барышня больная в неглиже лежит, а он – мужик сиволапый, видите ли, с птичкой приперся...

Степанида родилась в Москве во времена крепостного права, в семье спившегося сапожника. С детства была в людях, в услужении и искренне любила и почитала своих хозяев. Крестьянского труда не знала совершенно, но крестьян почему-то презирала. Считала, что все общие беды, включая межгосударственные войны, эпидемии и нашествия саранчи, пошли оттого, что дали волю «темным людям».

– Так завтра уезжает она, а мы и не повидались толком ни разу, – скорее для себя, чем для Степаниды, вымолвил Степан. – Хоть попрощаться...

– Завтра и попрощаешься, – почти с торжеством сказала Степанида. – Выйдешь со всей дворней на крыльцо и шапкой помашешь...

Степан машинально до хруста сжал кулаки и только потом почувствовал, что маленькое птичье сердечко больше не трепещет в ладони. Он выругался сквозь зубы и, понурившись, пошел прочь...

– Во, видал-миндал! – вслед ему удовлетворенно сказала Степанида. – Охальник! А туда же... Со свиным-то рылом да в калашный ряд...

* * *

– Здравствуйте! Я прошу прощения сразу, что без приглашения, и как мы воочию друг другу не представлены, но это выпал такой случай, и вы скоро уедете, я и так торопилась, а не знала, застану ли вас...

Адам с недоумением смотрел на незнакомую молодую женщину, появившуюся на пороге их семейного дома без всякого уведомления, и не мог сдержать подступающего раздражения. С детских лет он не любил никого приглашать к себе домой. А уж если гости являлись непрощенными...

Без всякой любезности Адам позволил женщине войти, в крошечной, заставленной корзинками, сундуками и прочим хламом прихожей принял от незнакомки строгое бархатное пальто, отделанное серебристым каракулем, и такую же муфту.

По-видимости не смущаясь его отчужденным молчанием, она продолжала говорить – негромко и дружелюбно:

– Аркадий Андреевич Арабажин ко мне писал, и я от него узнала, что вы в Первопрестольной наездом, а позже – снова в столицу, где нынче изволите проживать. Заочно я об вас от Аркадия Андреевича наслышана премного, и все в тонах лестных и даже превосходных, пересказывать не буду, чтоб вас не смущать понапрасну, потому что не все знают, как на такое «ай, молодца!», да еще с чужих слов переданное, отзываться. Я сама, например, вовсе не знаю, и переживаю, как дождь докучный. С Аркадием Андреевичем я уже много лет накоротке знакома, и люблю его, и уважаю, и вы тоже друзья, так и мы с вами заочно близко выходим...

Уже в гостиной, такой же заставленной, как и прихожая, Кауфман разглядел неожиданную гостью подробнее. Черная жесткая юбка, серая кофточка с воротником стойкой, приколотые на булавке часики, в качестве украшения – небольшая брошка с камеей. Очень бледный лоб с голубой жилкой, строгие, серо-синие глаза, пышные по-видимому волосы скручены безжалостно и убраны под маленькую каракулевую шляпку, только один локон черной змейкой вьется по чуть розовой с мороза щеке.

«Курсистка! – решил Адам. – И революционерка. Непременно так. Если бы не было этой нарочитой постности облика, была бы красива изумительно, опасно, той будоражащей, сводящей с ума красотой вне времени и наций, которая гармонично вполне разместилась между Уранией и Астартой, и в реальной жизни встречается крайне редко. Этот тип всегда, именно в силу своей исключительности, плохо вписывается в профанную жизнь и тяготеет к служению каким-нибудь богам. Бог Революции подходит для служения ничуть не хуже всех прочих. Поэтому сейчас она тихонечко сменит тему и начнет меня на что-нибудь агитировать. Какие-нибудь каналы связи с Петербургом, перевоз нелегальной литературы и надежное хранение ее в карцере для опасных душевнобольных. Знаем, знаем... Аркаша ее, конечно, послал подальше (еще со старших классов гимназии у друзей существовала договоренность о непривлечении Адама, убежденного сторонника просвещенной монархии, к партийным делам Аркадия). И вот она решила попытаться через его голову... «Люблю и уважаю много лет»... В каких же они действительно отношениях? И отчего он никогда мне об этих отношениях не рассказал? Она нелегалка?..»

– Аркадий Андреевич наверняка не раз вам обо мне рассказывал, – продолжала между тем незнакомка. – Вероятно в качестве курьеза, и примера неожиданного стечения обстоятельств, а может быть, и более серьезно – как интересный для вас профессиональный случай...

Прежде, чем Адам успел как следует удивиться сказанному и сформулировать вопрос, наступило то, чего он опасался с самого начала визита незнакомки: еврейское семейство Кауфманов пришло в себя и выступило на авансцену.

– Адамчик! Ну что ты стоишь, как лошадь у театра! Подай же теперь даме стул!

– Да не этот же, шлимазл, что ты берешь, у него же ножка шатается! Дама враз шлепнется на пол – разве мы того хотели в приличном доме?

– Ой-вэй, Адамчик, только не тот, там обивка порвана и гвоздь торчит, швер Яков еще в тот четверг штаны до ягодицы продрал... А кто мне его починит?

– Адамчик, ты вообще спросил, что дама кушать будет? Только чай или что-нибудь серьезное? Есть кугель, кнейдалах, пульке... Да что ж ты не спросишь-то? Если бы ко мне такая красивая дама пришла, я бы ее непременно про кугель спросил...

– Мойше, отбери сейчас у Сарочки дамину муфту, у нее уже полный рот меха, мейдалах (девочка – идиш) же задохнется... Такэ?

Адам оцепенел со стулом в руках. На высоком лбу под волосами выступили красные пятна, на скулах ходили желваки.

Гостья повела себя на удивление естественно. Откуда-то из недр жесткой юбки появились конфеты ландрин в красных обертках, которые она быстро, ловко и никого не обидев, раздала носатым и глазастым маленьким Кауфманам. Муфта, отобранная у Сарочки, легла на злополучный гвоздь в стуле, от которого пострадали ягодицы Якова. Сверху, всем улыбнувшись бегло и вскользь, но особо – старой бабушке в углу за книгой, уселась сама женщина, непринужденно заметив, что от чаю, конечно, не откажется, но если неведомый ей кугель с ним сочетается, она бы с удовольствием его отведала, так как очень любит пробовать разные блюда, и чего только в жизни не едала, вот недавно один человек из Сибири научил ее есть сырую, тонко порезанную мороженную рыбу с горчичным соевым соусом, и это оказалось удивительно приятно, а в отроческие годы она всему предпочитала миску трактирных объедков впоремешку, хорошо сдобренных подсолнечным маслом или, если повезет, сметаной...

Взрослые слушали и наблюдали все это в некотором замешательстве, дети безмятежно мусолили леденцы, а Адам наконец начал догадываться...

– Это я просто из воздуха догадался, что вам понравится. С вашим оригинальным жизненным опытом невероятная находка из еврейской кухни. Если вы возьмете любые объедки, сложите их в плошку, а затем смешаете яйца и молоко...

– Ицик, ты будешь учить даму готовить еврейскую еду?

– Фаня, дама желает-таки узнать, что такое кугель. И почему ты до сих пор еще молчишь?

– Меня зовут Любовь Николаевна Кантакузина. Друзья называют меня Люша, – представилась гостья.

– Чувствительно приятно. А вы, получается, всех здесь уже знаете. Это бабушка Рахиль, это Фаня, я – зейде (дядя – идиш) Ицик...

– Дети, скушали конфетки, сказали даме а гройсн данк и гей шлюфен (большое спасибо и идите спать – идиш) быстро-быстро. За щекой конфетки никто не оставляет, иначе подавитесь во сне и сдохнете...

– Любовь Николаевна, что вам от меня нужно?! – прорвался между громогласными репликами родни Адам. – Давайте пройдем в темную комнату, там по крайней мере никого нет, и там вы мне скажете...

– Адамчик, если бы ко мне пришла такая красивая дама, я бы ни за что не стал принимать ее в кладовке. Что вообще она об нас подумает?..

Адам схватил Люшу за руку и буквально поволок ее за собой:

– Осторожно, вот здесь пройдите... не опрокиньте это на себя, вот тут через корзину можно перешагнуть... сейчас я столик отодвину и открою дверь, проходите сюда, я держу...

В крошечной комнате без окна внавалку лежали завязанные крест-накрест узлы и стояла медицинская кушетка, накрытая шерстяным клетчатым пледом. Одну из стен украшали приколотые булавками листы из анатомического атласа. Возле кушетки двумя стопками разместились книги. На вершине одной из стопок стоял недопитый стакан чая и лежал кусок посыпанного мукой калача.

– Вы здесь спите? – спросила Люша.

– Да, – сказал Адам.

Девушка подождала, но никакого продолжения не последовало. Адам явно не собирался иронизировать, извиняться за родню или что-то объяснять ей из своей частной жизни. Все это Люше понравилось.

– Я пришла просить вас за брата, – сказала она.

Адам снова растерялся – ни о каких братьях Любы Осоргиной Аркадий при нем не упоминал. Он помнил историю ее семьи так: мать умерла, отец и нянька погибли при пожаре, дальние родственники живут в Москве, они и взяли девочку к себе, когда Аркадий подобрал ее на баррикадах в обличье хитровского гавроша.

– У меня есть брат Филипп, родной по отцу. Ему сейчас лет тридцать или даже больше, я точно не знаю. Его матерью была моя нянюшка Пелагея. Она, когда умирала, велела мне о Филиппе заботиться.

– А почему о нем нужно заботиться? – спросил Адам, опять начиная уже о многом догадываться.

– Филипп – психически болен. Он слышит голоса, которые ему что-то рассказывают, иногда пугают его. Зовет их – «они». Умом он как десятилетний ребенок. Знает буквы, может написать свое имя. Боится собак и лошадей. Любит книжки с картинками, изюм и расписные игрушки. Бывают у него и приступы ярости, но теперь это случается редко.

– Где он живет? Вместе с вами?

– Филипп уже много лет живет на заимке у нашего лесничего – Мартына и его дочери Тани. Из своей избушки иногда выходит погулять, но редко, потому что боится «их». Когда я вернулась в Синие Ключи, я предлагала ему переехать в усадьбу. Он отказался, «они» не одобрили переезда. Кроме всего прочего, «они» обещали ему невесту – Синеглазку. Он ее ждет.

– А что эта Синеглазка – какое-то реальное лицо?

– Вообще-то это персонаж нашей местной легенды – красавица, которая погубила влюбленных в нее парней, а потом и сама обледенела. А из ее слез образовались те самые Синие Ключи, по которым и усадьбу зовут... Но Филипп как будто бы другую Синеглазку ждет...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.